

Табел  
Местаков

ДОЖДЬ-  
ГОРОДОК



*Нател Местаков*

---

ДОЖДЬ-  
ГОРОДОК

ПОВЕСТЬ

Ростов-на-Дону  
Ростовское книжное издательство  
1981

P2  
Ш 51

Рецензент Л. И. Лавлинский

Ш 70302—016 34.80.4702010200 © Ростовское книжное  
М 156(03)—81 издательство, 1981 г.



## ОТ АВТОРА

Теперь, как, впрочем, и во все времена, часто спорят о молодежи. Нередко слышишь: «Мы были не такие». Подразумевается, что «мы» были лучше. Мнение не оригинальное, еще в античности утверждали, что молодые «не те». Однако если допустить, что каждое поколение утрачивает пусть даже ничтожную долю лучших качеств своих предшественников, напрашивается абсурдный вывод о постоянном вырождении человечества!

Почему же не умолкают сожаления об «утратах»?

Видимо, поведение молодежи нам, людям, обогащенным житейской мудростью или просто опытом, представляется «неправильным», переполненным эмоциональными излишествами, всякого рода крайностями, кажется то дерзким, то наивным и слишком часто — ошибочным. А между тем раздражающие нас крайности — отнюдь не свидетельство несовершенства молодых. Просто молодым нередко приходится трудно, особенно когда наступает неизбежный час вступления в самостоятельную жизнь. Родительская и педагогическая опека

уже изжила себя, собственный опыт еще не накоплен, каких-то ошибок не миновать, а признавать их мешает самолюбие... В итоге если не конфликт, то взаимное недопонимание. На какой-то момент связь с отцами становится односторонней. Сверху вниз идет назидательное «Слушай меня! Я хочу тебе добра». А снизу не слышат или, хуже того, пытаются возражать...

Конечно, время ставит все на свои места: молодежь занимает положенное место в жизни и сама превращается в отцов, а отцы — в дедов, которые обычно снисходительнее к внукам, чем были к сыновьям. Утихают старые и рождаются новые споры но, может быть, они были бы мягче и продуктивнее, умей отцы лучше слушать или лучше вспоминать...

Такие или приблизительно такие мысли высказывал мне недавно пожилой человек, с которым я познакомился более четверти века назад в жаркий августовский день в душной приемной Одесского облоно, куда мы съехали, чтобы получить направления на работу в местные школы. Волнуясь, мы ждали своей участи. Подобная обстановка быстро сближает, и за недолгие дни мы почти сдружились и даже просили послать нас в одну школу, но это оказалось невозможным, и пришлось разъехаться...

Потом, через много лет, я получил от него письмо: он прочитал одну из моих книг и захотел при случае повидаться. Стоит ли говорить, что встретились мы другими людьми? Мой знакомый из худощавого парня в широченных брюках превратился в весьма солидного доктора наук, человека, как я слышал, авторитетного в научной сфере.

Но от сегодняшних его занятий я был, естественно, далек, а вот о днях молодости, о пережитом после того знойного августа, когда наступил для нас не менее горячий сентябрь, говорили много... Оказалось, что будущий профессор вел в те дни нечто вроде дневника, записывал то, что волновало, огорчало или радовало. Записи эти он захватил с собой.

— Может быть, они заинтересуют тебя, как писателя. Я писал так, как думал, что думал, и хотя теперь многое из написанного самому кажется наивным и вызывает местами чувство сожаления, из песни, как говорится, слова не выкинешь, таков уж был...

Старые тетради меня действительно заинтересовали. Я нашел в них многое из того, что пережил сам, и мне захотелось рассказать о давних днях молодости Николая Крылова, как назову я моего знакомого, его заблуждениях и поражениях, жизненных затруднениях, которые довелось перетерпеть, увы, не ему одному.

Предоставляя право молодому учителю говорить от первого лица, я тем не менее хотел бы заметить, что предлагаю читателю повесть, а не дневник, произведение литературное, а не публикацию. Изменив фамилии и внешние приметы некоторых персонажей, вмешавшись кое-где в ход событий, а также придав крыловскому Дождь-городку облик города, где работал я сам, ибо Николай Сергеевич свой городок изобразил крайне скупо, я сохранил крыловские оценки людей и поступков. Сохранил не потому, что всегда согласен с ними, а потому, что хотел показать своего героя, каким он был, а точнее, каким себя видел. Был же он иногда излишне строгим, всегда взволнованным, однако и в вол-

нени стремился оставаться справедливым и к окружающим, и к самому себе. В его позиции нет заносчивости, попыток во что бы то ни стало перенести, переложить вину за свои беды и неудачи исключительно на окружающих. Он прекрасно понимает, что в глазах наблюдателя объективного отнюдь не выглядит образцом для подражания. Слабости и заблуждения его очевидны, а итог нагляден — в тот период жизни Николаю Крылову не довелось осуществить «благие порывы». Поэтому автор и не счел нужным вести по страницам повести назидательным перстом. Думаю, что читатель и сам сделает надлежащие выводы.

□

Пятнадцатого августа пятьдесят второго года старенький пассажирский поезд оставил меня на небольшой станции в степном украинском городке, где мне предстояло начать самостоятельную жизнь. Я посмотрел ему вслед, вытер платком мокрый лоб и, приподняв тяжелый, набитый книжками чемодан, двинулся навстречу неизвестному будущему.

Скажу сразу, что название «Дождь-городок» я придумал позднее. А пока что передо мной лежал Зной-городок, по широким немощеным улицам которого суховей гонял смерчи из пыли и раньше времени пожелтевших скрученных листьев. Ветер обжигал лицо и не давал открыть как следует глаза, но, на мое счастье, школа оказалась близко.

Прежде чем войти, я перечитал раза три надпись на отличной, совсем «городской» вывеске и сверил ее с тем, что было написано в моем направлении. Потом поставил на крыльцо чемодан и с удовольствием разогнул спину.

Снаружи здание казалось приятным, хотя и заметно было, что строилось оно давно и, очевидно, совсем с другой целью, однако свежая

светлая краска скрадывала тяжесть массивных каменных стен. Зато внутри было мрачновато. В широкий коридор, пересекавший всю школу, свет проникал только через застекленные до половины двери классных комнат. Стекла эти имели и еще одно назначение, но о нем я узнал позже...

А пока, пройдя почти весь коридор и не встретив ни души, я остановился у двери с табличкой «Директор». Она оставалась последним и, пожалуй, уже символическим рубежом между той, облегченной родными и воспитателями жизнью, которой я жил до сих пор, и неизвестным, но наверняка более сложным бытием, что должно было начаться с завтрашнего дня, и мне вдруг по-детски захотелось, чтобы директора не оказалось в кабинете.

Иногда наши мечты сбываются.

— Сегодня вы уже опоздали, — сказал кто-то сзади.

Я обернулся и увидел человека, как мне показалось, почти пожилого, то есть лет сорока. Был он крупным, начавшим полнеть, с круглой, гладко выбритой головой.

— Что же делать? — спросил я растерянно.

— Ждать и надеяться, как говорил граф Монте-Кристо в таких случаях. Где ваши вещи?

Я махнул рукой в сторону выхода:

— Там...

— Вот и отлично. Сейчас заберем их и пойдем ко мне. Ведь вы Крылов? — И, не дожидаясь ответа, он зашагал по коридору, продолжая: — А моя фамилия Ступак. Звать Андрей Павлович, преподаю физику. Сам здешний хохол.

Говорил он, впрочем, безо всякого украинского акцента. Пояснил, что обо мне звонили из облоно, что директора я увижу завтра, потому что он где-то в районе, а пока мы идем пить чай и отдыхать с дороги.

— В общем, «жена будет рада»,— закончил Андрей Павлович, усмехнувшись.— Она, кстати, тоже в нашей школе работает.

Я был смущен и хотел сказать, что лучше поискать место в гостинице или перепочевать в школе, на свободном диване, но Ступак уже вывел меня на улицу, легко подхватил с крыльца тяжелый чемодан, и я послушно пошел вслед за ним мимо режущих глаза белизной саманных домиков и гнущихся под ветром тополей прямой длинной улицей на край городка, откуда видны были бурые в перегретом мареве недавно убранные поля. Там Андрей Павлович толкнул свободной рукой низкую решетчатую калитку, и мы вошли в самый настоящий сельский дворик с не раз описанной украинской хатой под камышовой крышей. Возле хаты с шумовкой в руке стояла девушка в ситцевом платье в горошек и смотрела на нас.

— Светлана! — позвал ее Ступак. — Я с гостем... Моя законная супруга,— сказал он мне.

Я удивился — такими непохожими показались мне Андрей Павлович и его жена. Светлана выглядела гораздо моложе. Если бы я встретил ее в полутемном школьном коридоре, то наверняка принял бы за десятиклассницу. По сравнению с мужем Светлана была совсем маленькой, тоненькой девчонкой, с очень русским светлоглазым лицом и коротко остриженными, тоже светлыми, рассыпающимися волосами. Волосы эти падали ей на глаза, и она

все старалась отбросить их неловким движением головы.

Светлана протянула мне сухую загорелую руку, и я осторожно пожал ее.

— Николай.

— Ну какой же вы Николай! Теперь вы Николай?..

— Сергеевич...— пробормотал я.

— То-то! И не смущайтесь! Мне тоже было трудно привыкать к учительскому имени, но это уже профессиональная специфика. А пришли вы как раз вовремя: у меня пельмени почти готовы. Так что умывайтесь и — за стол!

Я понял, что сопротивляться не нужно, и послушно направился к прибитому прямо на дереве рукомойнику.

Не помню уже подробно, о чем говорили мы тогда за столом... О разном, конечно, как и говорят обычно люди, встретившиеся впервые, а о себе — только необходимое для первого знакомства, что-то анкетное. Я узнал, что поженились они еще в университете, а здесь работают третий год и у них есть мальчишка Вовка.

— Вы даже не представляете, какой у меня взрослый сын! — похвалилась Светлана. — Он сейчас с бабушкой в деревне.

Представить, что у нее есть сын, да еще и взрослый, было в самом деле нелегко. И еще меня озадачило слово «деревня» — настолько непохожим на город в моем понимании был сам этот городок. Но я ничем не выдал своего удивления.

Бабушка была мать Андрея Павловича. Ей и принадлежала хата, в которой мы ели пельмени. Так что Ступак не кокетничал, называя



себя здешним хохлом. Зато окающая Светлана была, конечно, северянкой. Недаром же она потчевала нас пельменями, а не варениками. Однако в тот день гораздо больше меня интeресовало другое.

— Расскажите что-нибудь о школе,— попросил я.

Светлана тряхнула головой, отбрасывая со лба волосы.

— А что вам говорили в облоно?

— Говорили, что школа числится в лучших, что мне повезло и я должен гордиться...

— Все правильно. Можете пачинать гордиться.

— Серьезно?

— Поживете — увидите,— сказал Ступак.— Такие вещи лучше познаются собственным опытом.

— Ну, а самим-то вам здесь нравится?

— Дом строим, Николай Сергеевич. Тут неподалеку...

В ответе звучала недоговоренность, но Андрей Павлович был прав: лучше все увидеть собственными глазами. Ждать-то оставалось недолго. Я подумал, что в моих расспросах есть что-то мальчишеское, несолидное, и не стал больше говорить о школе.

Положили меня на раскладушке во дворе. Ветер утих, намаившись за день, жара тоже уступила. Дышать стало легко и приятно. Спать не хотелось. Все вокруг было слишком непривычным: узловатые, жестколистые ветки вишни над головой, белеющая в темноте хата, близкое, в ярких звездах, небо, беспокойная переключка собак за плетнем... Не верилось, что все это реально, что так будет и завтра, и через

месяц, и еще очень долго, я не знал сколько, а с потрескавшимся асфальтом двор, комната на пятом этаже, улица, гремящая трамваями, в большом городе, где я родился и вырос, находятся далеко-далеко, за полторы тысячи километров...

Я вспомнил свой отъезд из дому, мать на перроне среди толпы людей, слезы на ее глазах, жаркие станции, с кипятком, бьющим из бронзовых, окутанных паром кранов, баб в цветастых платках, предлагавших пассажирам вареных кур, рассычатый картофель и жерделы в ведрах, тесное купе и стук домино, перемещающийся со стуком колес.

И вот — ни стука, ни беспокойных соседей. Вместо залитого асфальтом двора — степной городок, в котором я знаю пока только двух людей. Они понравились мне, как могут нравиться люди в молодости, сразу и без сомнений. Я был не просто благодарен им за гостеприимство, но уже любил их и радовался, что буду работать вместе с ними, и мне хотелось, чтобы они тоже полюбили меня и я смог бы сделать для них что-нибудь хорошее. И еще я думал, что и другие учителя и директор тоже должны быть простыми и сердечными людьми, с которыми легко и радостно работать, которых уважают и любят ученики и которые будут уважать и любить меня, и все вообще будет замечательно...

Утром Ступак повел меня снова в школу.

— Хотите посмотреть город? — предложил он.

— Разумеется...

— Тогда сделаем небольшой крюк.

Мы спустились на соседнюю улицу и по ней вышли к реке. Собственно, здесь сходились даже две реки, деля городок на три части, соединенные старыми деревянными мостами. По мостам все время что-то двигалось: то быки тянули арбу с соломой, то осторожно проползала груженная трехтонка, прижимая пешеходов к шатким перилам.

— Между прочим, в свое время здесь была граница трех государств,— сказал Андрей Павлович.— Мы с вами сейчас на турецкой стороне, там была Польша, а тут Россия... Один петух будил подданных трех монархов. Таковы «дней старинных анекдоты».

Возле моста начинался большой, давней посадки городской сад. Деревянная арка с выгравированными флажками и фанерными кренделями букв, составлявшими слова «Парк культуры и отдыха», символизировала в нем день сегодняшней, зато тенистые, запущенные аллеи парка вызывали в памяти тургеневские страницы. Здесь было совсем мало людей, и вкопанные в землю скамейки из толстых досок стояли, присыпанные сбитыми ветром листьями.

Из парка мы вышли в самый центр городка. Широкая и короткая улица, вымощенная плохо обработанным булыжником, соединяла две круглые площади. На одну из них выходил уже знакомый мне вокзал, на другую — монументальное, дореволюционной постройки сооружение, обнесенное массивной колоннадой. Между колоннами рябили красно-синей мозаикой многочисленные вывески районных учреждений. Спinoй к сооружению стоял в длинной, до пят, бетонной шинели Сталин, строго поглядывая вдоль улицы. Улица, почти сплошь со-

стоявшая из торговых точек, называлась «имени Ивана Франко». Несмотря на рабочее время и жару, на улице толпился заинтересованный торговлей народ.

— Ну как наш Китеж-град, понравился? — спросил сдержанно Ступак.

— Конечно, не Рио-де-Жанейро, — ответил я, — но жить, по-моему, можно... А парк просто чудесный!

— Тогда заглянем на главный объект и — в школу.

Мы снова очутились в тихом украинском селе. Метров через двести от центра между двумя мазанками поднялись над каменным фундаментом почти под крышу кирпичные стены.

— Вот. Великая стройка. Если раньше не сбежите, будем через год праздновать новоселье.

Я довольно равнодушно осмотрел объект.

— Наверно, это страшно хлопотно — заниматься строительством?

Ответ Андрея Павловича я не понял. Он сказал не сразу:

— Страшно будет, когда оно кончится.

Через несколько минут мы были в школе. Ступак подвел меня к полуоткрытой двери директорского кабинета и слегка подтолкнул в спину:

— Ну, вратарь, готовься к бою!

На этот раз директор оказался на месте. Когда я вошел в кабинет, он что-то писал за столом. Я увидел седую, аккуратно причесанную голову, склонившуюся над бумагами, а над головой — черную, обильно изукрашенную резьбой спинку кресла. Директор, разумеется, слы-

шал скрип двери и шаги, но не перестал писать и, не поднимая головы, продолжал методично выводить на тетрадном листе строчку за строчкой.

Молча стоять было неловко, и я спросил с заметным опозданием:

— Разрешите войти?

— Вы ведь уже вошли,— ответил директор резонно и указал мне рукой с пером на стул.

Я присел, дожидаясь. Мой первый начальник поставил на своем письме красивый косой росчерк и только тогда положил ручку и поднял глаза.

— Я вас слушаю.

— У меня к вам назначение на работу...

— Очень приятно. Где же оно?

Я протянул бумагу. Директор взял ее и, не спеша развернув, внимательно прочитал.

— Значит, вы Николай Сергеевич Крылов?

— Да.

— А что у вас еще есть с собой, Николай Сергеевич?

Я не понял:

— Как — что?

— Паспорт, диплом?

— Ну, конечно.

Он просмотрел документы так же неторопливо, как и направление, и спросил:

— Диплом у вас с отличием? Это хорошо. Только разрешите задать вам один вопрос.

— Пожалуйста.

— Скажите, Николай Сергеевич, вы приехали к нам... добровольно?

— Конечно.

— А у вас не было возможности остаться работать в городе?

— Была. Мне предлагали место ассистента на кафедре.

— И вы все-таки решили ехать сюда, в провинцию?

— Да.

— Почему?

— Мы решили так на комсомольском собрании — всем поехать на периферию. Мы думали, что будем здесь полезны.

Он внимательно посмотрел на меня из-за очков в тонкой серебряной оправе.

— Вы правильно решили, Николай Сергеевич. Нам нужны способные молодые педагоги. Но хочу сразу предупредить вас: и вам придется хорошенько поучиться у старых, опытных преподавателей. У нас есть такие люди. Наша школа — одна из лучших в области.

— Я знаю.

Директор, кажется, был доволен моими ответами. Он снял очки и протер стекла очень чистым носовым платком.

— Ну что ж... Желаю вам успеха на первом самостоятельном поприще. Вы еще не искали квартиру?

— Нет.

— Тогда с этого и начинайте. О делах поговорим попозже. Сначала устраивайтесь. Я скажу уборщице, чтобы она помогла вам подыскать комнату. Она хорошо знает местных жителей.

Без очков он выглядел не таким строгим. И вообще, его деловой тон мне нравился.

«Благородный старик, строг, но справедлив!» — подумал я, по студенческой привычке облекая мысль в расхожую цитату.

□

Дни, оставшиеся до первого сентября, пробежали в будничных хлопотах и не запомнились событиями. За это время я нашел себе комнату и познакомился почти со всеми учителями. Комната была хорошая, с окном в заросший сиренью палисадник. Хозяйка мне тоже понравилась. Звали хозяйку Евдокия Ивановна, ей недавно перевалило за пятьдесят. Жила и хозяйничала она одна, потеряв, как многие, мужа на войне. Держалась Евдокия Ивановна с нередким в деревенских женщинах тактом и достоинством, которые отличают человека умного и доброго, обладающего теми чудесными качествами, что обычно называют душевной красотой. Но о хозяйке я еще скажу, а теперь об учителях...

Их было больше десяти, и запомнить каждого сразу я, конечно, не мог. Упомяну пока тех, кто имел непосредственное отношение к моей истории.

Человек номер два в каждой школе, разумеется, завуч. Правда, это может быть и большое «два», а бывает и малюсенькое, незначительное. Но эта подлинная величина познается не сразу, и первое мое впечатление от Тараса Федоровича было в основном внешним, зрительным. Он показался мне похожим на дверную ручку. Бывают люди с такой нескладной фигурой: сам худой, плоскогрудый, а живот торчит круглым мячиком. Мячик этот у Тараса Федоровича прикреплялся к туловищу широким офицерским ремнем, который он носил поверх диагоналевой зеленой гимнастерки. И как будто на случай, если пояс подведет, завуч хо-

дил все время с низко опущенными руками и растопыренными пальцами, готовый каждую минуту подхватить на лету мячик-живот.

Впрочем, слово «ходил» неточно. Тарас Федорович передвигался мелкими перебежками, я видел его только в движении, суетливо спешащего из класса в учительскую, а оттуда еще куда-то, с вечно озабоченным и страдальчески сморщенным лицом.

Любимыми словами Тараса Федоровича были «хорошо вам!». Ими он начинал и заканчивал любой разговор, раз и навсегда убедив себя, что нет на земле должности более обременительной, чем заведование учебной частью в средней школе. Светлые минуты приходили к нему лишь дважды в год, когда он садился составлять очередное расписание.

Расписание было для него и источником вдохновения, и предметом постоянной и законной гордости, ибо наш завуч несомненно являлся виртуозом своего дела. Как настоящий волшебник, извлекал он из хаоса часов свободные дни и ликвидировал нелюбимые всеми «окна». Я убедился в этом, получив второй выходной при двадцатичетырехчасовой нагрузке.

Показывая мне исписанный и исчерканный лист нового расписания, Тарас Федорович был похож на Кио, только что распилившего на ломтики свою молоденькую ассистентку. Я же напоминал мальчугана, который со страхом дергает маму за рукав и спрашивает, что же теперь будет с тетей. Потому что, откровенно говоря, я не ожидал такой нагрузки сразу и не был уверен, что справлюсь с ней.

Но Тарас Федорович думал иначе.

— Работайте, молодой человек, работайте!



Сейте разумное, доброе, вечное. Хорошо вам! — добавил он, будто сам уже сеять не мог.

И, не дав мне возразить, завуч умчался, сунув расписание под мышку и привычно подстраховав ладонями живот...

Не менее колоритной фигурой была Прасковья Лукьяновна, самоуверенная старуха с сильным, прокуренным голосом. Даже в жару она носила толстую вязаную кофту, цветом и покроем похожую на потемневшую от времени музейную кольчугу. Преподавала Прасковья (за глаза все называли ее только по имени) химию и биологию. Наверно, эта близость к природе выработала в ней манеру выражать свои мысли прямо и грубовато, нарочито пересыпая русскую речь украинским словцом.

— Здравствуйте, юноша,— сказала она, бесцеремонно оглядев меня с ног до головы.— Небось, героя из себя корчите, что приехали в нашу дыру?

Я немножко оробел.

— А мы вот побачим, що вы за герой. Посмотрим, как вы работать будете! Понятно?

И стряхнула желтым пальцем пепел с толстой папирасы.

И, наконец, Виктория, говоря на преподаваемом ею языке, «инфанти террибль» нашей образцовой школы...

Появилась она в учительской тридцатого августа. Шумно распахнулась дверь, и я увидел нечто совершенно непохожее на учительницу в моем представлении. Таких девиц мы неустанно прорабатывали на комсомольских собраниях. Нестерпимо яркая, от бронзовых, несомненно природного цвета, волос до красных модных босоножек на длинных ногах, она была красива

южной броской красотой и ничуть не скрывала ее.

Виктория остановилась на пороге и сказала всем громко:

— Здравствуйте! Вот и я. Заждались?

И сразу, не слушая, что ей будут отвечать, подошла к Тарасу Федоровичу:

— Вы, конечно, надеялись, что я не приеду?

— Почему «надеялись»? Разве я к вам плохо относился?

— Что вы, дорогой наместник директора в учительской! Вы лучший из завучей и наверняка приготовили для меня лучшее из своих расписаний!

— Хорошо вам! Ездите, катаетесь, а я си-ди, готовь расписание!

— Вы не сидели, Тарас Федорович. Вы па-рили, как поэт, на крыльях вдохновения.

И она рассмеялась.

Тарас Федорович только горестно взмахнул руками, а Прасковья отвернулась к окну и уси-ленно запыхла папирсой.

— Что это за стилияга? — спросил я у Анд-рея Павловича, который молча посмеивался.

— Преподавательница французского языка Виктория Дмитриевна Хрякина. Между про-чим, дочь крупного работника.

Я удивился:

— Что ж ее папа поближе к себе не устроил?

Ступак пожал плечами:

— Пути господни неисповедимы. Может быть, судьба привела ее в наш город специаль-но для вас.

— Нет уж, избавьте! Виктория Хрякина, на мой взгляд, слишком смелое сочетание.

— А Виктория Крылова? По-моему, ничего. Подумайте на всякий случай.

Мы оба, конечно, шутили. Мне было не до Виктории, я думал только о своем первом уроке. Конечно же, трусил, и трусил не зря: педагогике в нашей университетской программе отводилось место бедного родственника. Считалось, что главное — хорошо усвоить предмет, а педагогические навыки придут с опытом. Практика наша состояла из какой-то пары уроков. Да разве это были уроки? Обыкновенные самодеятельные спектакли, где каждый с грехом пополам ведет свою простенькую роль! Настоящие уроки казались мне тогда бесконечно далекими...

Но вот до первого из них осталась неделя, потом день и наконец час, всего только час.

Когда я в черном, застегнутом на все пуговицы шерстяном костюме подошел к школе, то впервые пожалел, что не остался работать в университете. Двор ходил ходуном. Детвора всех возрастов орала, визжала, прыгала и колотила друг друга сумками. Я шел среди них, испытывая ощущение человека, который ждет пулю между лопаток, и когда поднялся на порог, то остановился, чтобы перевести дух. Жутко было думать, что через несколько минут почти сорок из этих разбойников останутся со мной с глазу на глаз.

В учительской делили указки. Тарас Федорович заготовил их целую охапку — свеженьких, желтеньких, только что из столярной мастерской. Светлана просила подлиннее.

— С моим ростом это не роскошь...

Я взял первую попавшуюся.

— Мне все равно, лишь бы отбиться от учеников!

— Здорово трусите? — спросила Светлана. Я сознался честно:

— Страшновато.

— Вот и зря, хотя все трусят. На первом уроке никогда ничего страшного не случается. Дети — они хитрющие. Они сегодня к вам приглядываться будут: что можно, что нельзя. И сидеть будут, как мыши. Так что не трусьте! Вы в каком классе?

— В девятом.

— Ну, да там все взрослые! А в девочек влюбиться можно.

Подошел Андрей Павлович и, глянув на часы, сказал:

— «Ч» минус полминуты.

Я постарался улыбнуться. Светлана тронула меня за рукав.

— Ни пуха ни пера...

И тут же зазвенел звонок. Все отсрочки кончились. Я взял потной рукой журнал и пошел в класс.

Меня уже ждали. Не было ни хаоса, ни даже обыкновенного шума. Просто любопытные, а у некоторых даже сочувствующие взгляды.

— Садитесь, — сказал я, вслушиваясь в свой голос, не сорвется ли. Прозвучало, правда, глуховато.

— Ребята, меня зовут... — начал я сто раз отрепетированную фразу, но не успел закончить ее.

— Николай Сергеевич, — сказал кто-то с места.

«Ну вот, началось», — мелькнуло у меня, и я с ужасом услышал смех. Но смеялись не

надо мной. Просто девочка, назвавшая мое имя, смутилась и закрыла лицо руками. Мне стало легче.

— Да, меня зовут Николай Сергеевич, а сейчас познакомимся с вами...

Я открыл журнал и начал перекличку. Собственно, занятие это было бесплодное. При том волнении, которое я испытывал, запомнить чьи-то лица было совершенно невозможно. Но я добросовестно взглядывал на каждого и постепенно начал успокаиваться. Позади осталась уже бóльшая часть алфавита, когда я увидел очередную фамилию — Рыло.

«Идиотская фамилия», — подумал я. Она особенно резала слух, потому что другие фамилии как на подбор красовались благозвучием: Новицкая, Комарницкий, Ляховская, Ямурский. И вдруг среди ясновельможного панства — Рыло. Но что я мог поделать?

— Рыло, — произнес я неуверенно.

Кто-то хмыкнул, а с первой парты поднялась очень хорошенькая девушка и, покраснев, поправила меня:

— Рыло.

Кажется, я сам покраснел.

— Извините, пожалуйста!

Больше инцидентов на этом уроке не было, и когда я начал объяснять материал, то настолько овладел собой, что даже почувствовал, как взмокла моя спина под жарким пиджаком, надетым исключительно из соображений солидности. Но это были мелочи. Главное же, меня слушали, я вел свой первый урок, я был уже настоящим учителем. И, когда прозвенел звонок, я с нежностью глянул на своих мальчишек и девчонок со шляхетскими фамилиями и

такими симпатичными украинскими черноглазыми физиономиями.

□

Начало осени прошло как один типично обобщенный день, схема которого сложилась у меня в голове еще до приезда в Дождь-городок. Основой ее был строгий режим: подъем по будильнику, зарядка на воздухе при любой погоде, тщательная подготовка к урокам, максимальное внимание к своим обязанностям, никакой пустой траты времени и дальше в том же суровом духе. Выглядело это приблизительно так:

14 сентября, четверг.

Проснулся ровно за пять минут до звонка будильника. Сегодня прибавил к комплексу еще одно упражнение. Пришел в школу в бодром, хорошем настроении. У меня было три урока в девятых классах и один в шестом. Материал ребята знали неплохо, итог дня — только две тройки, остальные — четыре и пять.

На перемене Тарас Федорович похвалил меня. Сказал: «Молодой преподаватель, а уже сумел себя поставить». Он был у меня на уроке в 9-м «б». Думаю, что я не вполне заслужил эту похвалу, потому что в шестых дисциплина у меня значительно хуже, но все-таки приятно.

После уроков, в порядке ознакомления, посетил семьи двух учеников — Стрельченко и Комарницкого. Встретили меня очень тепло, даже предлагали обедать, но я, конечно, отказался.

Вечером написал письмо маме.

Так и бежали эти дни...

Я благополучно жил в новом для себя мире, но жил по собственным, самым собой составленным или просто вычитанным правилам, лишь формально соответствующим этому, еще не открытому мной миру, который казался мне плоским и простым, а на самом деле топорщился тысячью острых углов, о существовании которых я и не подозревал. Я видел его таким, каким он должен был быть по моим незрелым представлениям, а вовсе не таким, каким он был в действительности.

Понятно, что это не могло продолжаться слишком долго.

Пожалуй, на первый ухаб я наскочил, когда столкнулся с Еремеевым. Этот день я запомнил особенно хорошо, потому что с него начались дожди...

В то утро, перед тем как проснуться, я видел сон. Сон, впрочем, совсем не символический, а самый обычный: как будто я веду урок и вдруг звонок. А я еще не закончил объяснение. Я смотрю на часы, не зная, что же делать, а звонок звенит и звенит. С этим звоном в ушах я и проснулся и, прежде чем придавить кнопку расходившегося будильника, обрадовался, что конфуз с уроком произошел не наяву, а во сне.

Потом я немного удивился, что проспал. Больше того, вставать не хотелось даже теперь, когда будильник разбудил меня. А ведь я гордился тем, что вскакивал с постели за пять минут до звонка. Удивило и то, что в комнате было совсем темно. Я даже поднес к глазам часы, чтобы проверить себя, но никакой ошибки не было.

Тогда я, преодолев сонливость, поднялся. Из форточки тянуло холодом. Я подошел к ок-

ну и понял, почему мне не хотелось вставать: за окном шел дождь. Не шумный, теплый, которого так хотелось в недавние знойные дни, а настоящий осенний — тихий, мелкий и бесконечный.

Улица выглядела как неконтрастная фотография: почерневшие за ночь ветки деревьев и стены ближних домов сливались с мутным темно-серым задним планом. Краски исчезли, будто дождь смыл их.

Я сунул ноги в тапочки и пошел на крыльцо делать зарядку. Холодные капли стекали по плечам, и я тщательно считал движения, чтобы не сделать лишних. Норму, однако, выдержал и, протерев тело мохнатым полотенцем, почувствовал, что равновесие восстановлено. В школу я шел с удовольствием вдыхая свежий влажный воздух.

Однако погода все-таки действовала. В учительской женщины просили закрывать форточки, в коридоре было меньше шума, а уроки шли при электрическом свете, отчего казалось, что на дворе не утро, а поздний вечер.

В 9-м «а», где у меня был первый урок, некоторые ученики явно дремали. Мне хотелось немножко встряхнуть класс, но как назло в голову не шло ничего интересного или остроумного. Разрядилась обстановка неожиданно и совсем не так, как мне хотелось.

Я повернулся на минуту спиной к классу, чтобы написать что-то на доске, когда раздался удар и вскрик.

Резко обернувшись, я посмотрел туда, куда смотрели все. На третьей парте сидели Еремеев и Комарницкий, хлопчик маленький и щуплый. Еремеев, напротив, выделялся тренированной



фигурой и выхоленным нагловатым лицом. Отец его был военным. Сын тоже мог хоть сегодня надеть мундир: спортивного покроя чехословацкий пиджак сидел на нем как влитой.

Сейчас Еремеев нарочито равнодушно смотрел в окно, а Комарницкий закрывал ладонью красную щеку и часто моргал.

Класс ожил и замер. Но теперь тишина не имела ничего общего со спячкой. Все ждали, что я предприму.

Предстояло выдержать маленький экзамен. Я вдохнул поглубже воздух, чтобы осадить волнение.

— Что вы сделали, Еремеев?

Он поднял на меня свои серые, красиво посаженные глаза, подумал, потом привстал из-за парты и пожал плечами. Наверно, мой вопрос показался ему глупым.

Тогда я решил его конкретизировать:

— За что вы ударили Комарницкого?

— А он знает...

— Я тоже хочу знать!

— Ударил, и все...

И, видимо, считая вопрос исчерпанным, Еремеев так же медленно опустился на скамью.

Это меня взорвало, но холодные обтирания по утрам сделали свое дело, и я спросил почти спокойно:

— Кто вам разрешил сесть?

Он опять подумал и снова приподнялся, глядя на меня, как на назойливую муху, которую невозможно отогнать от носа.

— Я спрашиваю, кто вам разрешил распускать руки на уроке?

Еремеев молчал.

Конечно, можно было отчитать его и этим

ограничиться, но, во-первых, я был задет его ленивым пренебрежительным молчанием, а во-вторых, и это, пожалуй, главное, я почувствовал, что произошло нечто не случайное и от меня ждут не формальных нотаций. По очень собранному вниманию класса я догадывался, что это не просто обычный мальчишеский инцидент — щелчок, хлопок, а через час все забыто.

— Вам нечего сказать, Еремеев?

— А о чем говорить-то?

— Тогда выйдите из класса. Поговорим после урока.

И тут-то, несмотря на весь свой гнев и волнение, я совершенно ясно увидел, что он удивлен. Еремеев даже наморщил лоб, как бы соображая, не ослышался ли он.

Движение прошло и по классу, а откровенно изумленный Комарницкий отпустил побитую щеку и уставился на меня карими глазками. Такого эффекта я не ожидал. Правда, выгонять с урока мне приходилось впервые, но не такая уж это диковина!

— Выходите, Еремеев! Комарницкий, освободите проход.

Малыш покосился на своего атлетически сложенного соседа, но из-за парты вышел не без удовольствия.

Еремеев все же еще недоумевал.

— Класс ждет! — сказал я твердо, хотя и с внутренним страхом, что он не послушается.

Но он уже смотрел на меня не как на муху, а скорее как на пчелу, которая не только зудит, но и жалит.

Я заметил это и нанес последний удар:

— Не тяни время!

Тогда он стал выбираться из-за тесной парты. Комарницкий на всякий случай отступил подальше. В классе стояла мертвая тишина. Потом хлопнула дверь. Я глянул на ребят. Они смотрели на меня бесспорно одобрительно.

— На чем мы остановились? — спросил я...

На перемене Еремеева поблизости не оказалось, и я не стал его разыскивать. Однако в конце дня в учительской уже знали, что произошло на уроке. Я понял это, услышав, как Прасковья бурчит, прислонившись спиной к кафельной печке:

— Выгонять — большого ума не требуется...

Мне стало неудобно; и я не знал, что делать — обидеться или пропустить эту реплику мимо ушей.

Выручила Виктория.

— Вы в самом деле выгнали Еремеева?

С Викторией наши отношения складывались идеально. Мы просто не замечали друг друга. Я ее, как видно, не особенно интересовал.

— Да, выгнал. Кстати, он вел себя возмутительно!

— Ха-ха-ха! Бедный мальчик. Да он просто проводил воспитательную работу!

— Перестаньте кривляться, — одернула ее Прасковья.

И тут только до меня дошло. Ведь Еремеев председатель учкома! В волнении я забыл об этом. Но это же совсем черт те что!

— Такого «воспитателя» не из класса, а из комсомола нужно гнать! — возмутился я от души.

— Положим, Николай Сергеевич, вы немножко преувеличиваете!

Это сказал директор. Он вошел в учительскую после меня. Вошел как-то тихо, неприметно.

— Еремеев хороший ученик и удалять его из класса не стоило. Этим поступком вы подрывали его авторитет.

— Который он поддерживает мордобоем?

Троицкий (я, кажется, забыл сказать, что директора звали Борис Матвеевич Троицкий) неожиданно для меня улыбнулся и положил мне руку на плечо.

— Я вас понимаю, Николай Сергеевич, очень хорошо понимаю, — сказал он мягко, потечески. — Мне ведь тоже было двадцать два года. Правда, давно это было... — Он вздохнул. — Но и я, как и вы, в этом возрасте многого не знал. Зайдите ко мне после уроков, и мы вместе во всем разберемся.

Я почувствовал себя нашкодившим мальчиком...

Засиделись мы после уроков надолго, и, я думаю, оба искренне старались справиться со своими задачами: он — объяснить мне мои заблуждения, я — понять свою ошибку.

— Дорогой мой и уважаемый Николай Сергеевич, — говорил Троицкий совсем не так, как в первый день в этом же самом кабинете, а гораздо сердечнее, душевнее, чего я не ожидал от этого казавшегося мне сухим человека. — Школа — это очень сложный организм, и, чтобы он функционировал так, как нужно, необходимо им правильно управлять. А эта систе-

ма управления, без которой воспитание в детях нужных нам качеств просто невозможно, состоит из многих рычагов, передач и шестеренок, от директора и до старосты в классе.

От чего же зависит успех действия нашей системы? Конечно же, от ее авторитета в глазах учащихся. Любое звено механизма управления должно быть для них своего рода табу. И Еремеев в данном случае — не просто ученик Еремеев, а председатель ученического комитета, точно так же, как вы и я...

Слушать Троицкого было непривычно. Он говорил безо всяких издержек устной речи, как будто видел перед собой хорошо отредактированный текст и зачитывал его правильным русским языком, в котором украинский акцент звучал почти неуловимо, и я почему-то подумал, что он специально и много лет тренировал себя, чтобы изжить этот акцент, в котором для русского уха всегда есть что-то простонародное.

— ...Предвижу ваши возражения: Еремеев действительно виноват, и он должен понести наказание. Я с этим целиком и полностью согласен. Но какое это наказание? Безусловно, такое, при котором не может пострадать его авторитет! Вы же унизили его перед классом.

— Но ведь с него и спрос должен быть больше.

— Правильно. Спрос. А кто должен спрашивать? Дети или мы, его старшие наставники? Думаю, что мы, те, кто выдвигал его в вожаки молодежи, те, кто отвечает за него.

Мне было трудно найти в его логике уязвимые места, да он и не оставлял мне времени на это.

— Помните, Николай Сергеевич, всегда

помните основное правило педагогики — индивидуальный подход к каждому ученику. О этом золотом правиле вы сегодня и забыли. Ну, не беда! Ошибки неизбежны у каждого молодого преподавателя. Так что не огорчайтесь. Мы вам всегда придем на помощь...

Вышел я из школы довольно-таки растроеным. Нельзя сказать, чтобы я твердо усвоил все, что сказал мне директор, но все-таки разговор с ним поколебал мою убежденность в своей правоте. Я никогда не принадлежал к числу самоуверенных людей, а у Троицкого было за плечами лет тридцать стажа. Да и говорил он хоть и академично, но заботливо, искренне, а главное — убежденно излагал прочно сложившиеся, отстоявшиеся взгляды опытного педагога.

□

На улице по-прежнему шел дождь, все такой же мелкий, холодный и бесконечный. Опять было полутемно, теперь уже потому, что вечерело, и только луж на дороге прибавилось да стало тяжелее отрывать подошвы от липкой черной земли.

Дома тоже было неуютно. Уходя, я, как обычно, оставил форточку открытой, и комната наполнилась сырым неприятным воздухом. Следовало бы растопить печку, но хозяйка на два дня уехала в Одессу к дочке, а сам я не был уверен, что справлюсь с таким незнакомым для горожанина делом.

«Ладно, обойдусь», — решил я и натянул на себя свитер.

Потом наскоро перекусил и сел за стол, чтобы занести в тетрадь первое выходящее за при-

вычные рамки событие. Однако у меня ничего не получилось. Сначала я написал так:

«Выгнал из класса Еремеева и, как оказалось, поступил неправильно...»

Тут я поставил точку и собрался было объяснить, почему именно поступил неправильно, но сформулировать это никак не удавалось. Да и написанное не совсем нравилось. Я посидел немного и зачеркнул вторую часть фразы, а вместо зачеркнутого написал: «Все считают, что я поступил неправильно».

Однако и эта фраза была не той, что нужно. Почему все? Ну, Прасковья — это понятно. Виктория вообще не в счет. Ей лишь бы поохотать. А вот Ступак, Светлана? Светланы в тот день в школе не было. А Андрей Павлович был и даже в учительской сидел во время нашего разговора. Но ничего не сказал. Сидел в стороне, писал что-то в журнале и ничего не сказал.

Я встал из-за стола и начал ходить по комнате. «Нужно поговорить с ними. Они должны всё это понять правильно». Поговорить захотелось сразу, немедленно. Я снял с вешалки пальто.

У Ступаков я бывал охотно, но не часто, потому что боялся показаться назойливым, хотя они всегда и, по-моему, от души приглашали заходить на огонек. Держались они со мной просто, а мать Андрея Павловича никогда не упускала случая угостить меня чем-нибудь вкусным.

— Вы ж тут один, без родных, — говорила она, подкладывая кусок пирога или моченое яблоко...

Визиты эти были единственным послаблением в моей аскетической жизни, и не мудроно, что в тот вечер меня потянуло к Ступакам.

Я запер за собой дверь и погрузился в сырую темноту, неярко прочерченную пунктиром подвешенных над улицей электрических лампочек. Идти предстояло кварталов пять.

Сейчас, осенью, старая хатка, в которой все еще жили Ступаки, не казалась такой привлекательной, как летом, зато внутри было уютно и тепло, почти жарко, и я с удовольствием протянул над плитой озябшие руки.

Андрей Павлович возился с радиоприемником, Светлана шила: Я обрадовался, что они не готовятся к урокам, но все-таки спросил на всякий случай:

— Не помешаю вам? Если заняты, то гоните меня безо всяких стеснений!

Фразу эту я повторял каждый раз, входя к Ступакам, и она стала для меня своего рода индульгенцией, заранее отпускающей будущие грехи.

Отвечали мне тоже всегда одинаково:

— Обязательно выгоним!

Совершив этот традиционный обряд, я с облегчением стянул с плеч мокрое пальто и признался:

— Всегда боюсь, что пришел не вовремя.

— Можно подумать, что вы часто к нам ходите, — сказала Светлана. — Между прочим, что вы делаете в своей келье с утра до ночи? Хоть бы у хозяйки дочка была! А то просто загадка!

— Тайна вашего одиночества постоянно волнует мою жену, — улыбнулся Ступак, вставляя винт в трансформатор.

— Ну какая тут тайна! Готовлюсь к урокам, читаю...

— А почему вы не ухаживаете за девушкой-



ми? От гордости? Нет достойной в глуши, да? — атаковала меня Светлана.

— Что вы! Да я не знаю ни одной...

— Хочешь, Света, я тебя выдам? — Андрей Павлович положил отвертку и подмигнул мне, как заговорщик.

— Ни в коем случае! Сумасшедший!

— Все равно выдам.

Светлана бросилась к мужу и попыталась ладонью закрыть ему рот, но он обхватил ее большой рукой и объявил торжественно:

— Она мечтает вас женить!

— На ком же, если не секрет?

— Бессовестный! — вырывалась Светлана. — Я тебе этого никогда не прощу.

— Что поделаешь! Не могу ж я не предостеречь человека. На Виктории Дмитриевне.

И Андрей Павлович выпустил Светлану. Она стояла, покрасневшая от смущения и потасовки, и поправляла волосы. Я встретился с ней глазами, и на сердце у меня стало как-то неожиданно тепло и почему-то чуть не ловко.

— Правда? — спросил я, отводя взгляд и совсем не думая о Виктории.

— Не верьте ему. Он все выдумал!

— Почему выдумал? Ты же говорила: вот Николай Сергеевич и Вика оба городские, такие симпатичные, а друг друга совсем не замечают.

— Не думал я, что вы считаете эту девицу симпатичной.

— И напрасно! Если хотите знать, ее ученики любят, а для меня это самый верный показатель. Вон старейшую нашу дети Парашей зовут, а у Виктории никаких кличек нет, хоть

она и рыжая и фамилия у нее поросычья!  
— Света! Не переходи на личности! — попросил Ступак. — Твоя «любовь» к Прасковье Лукьяновне и так не секрет.

— Да я-то не про нее вовсе! И не верю я, что Вика испорченная. Сплетни все это наших завистливых баб. Не поддается девчонка деревенской рутине, следит за собой, так нате вам—уже о ней по углам шушукуются. А она не обращает внимания, и правильно делает. А вы-то, Николай Сергеевич, за бабами потянулись! Вот уж не ожидала!

Я поднял обе руки.

— Хоть вы меня и не убедили, сдаюсь!

Когда Светлана горячилась, она окала особенно заметно и чаще обычного прибавляла к словам «то». Я заметил, что мне нравится эта напористая речь, энергичная, без южной крикливости. И вообще, мне многое нравилось в этой маленькой женщине.

Андрей Павлович был настроен более сдержанно.

— Вот вам, Николай Сергеевич, образчик бессмысленной траты энергии. Поверьте, что Виктория Дмитриевна меньше всего нуждается в защите. Ее и так охраняет целый танковый батальон.

— Ты имеешь в виду того майора? Героя?

— И майора тоже...

— Ну, Светлана Васильевна, куда уж мне с героями соперничать!

— А с кем же вам соперничать? Со стариками? Эх вы! Еще мужчина называетесь! Вам только книжки читать!

Ступак не выдержал, рассмеялся:

— Отчитала гостя! И все-таки, Николай

Сергеевич, не поддавайтесь. Это же чистая пропаганда. Каждый женатый мечтает женить хоть одного холостяка. Так уж человек устроен. Сам попался — тащи ближнего. Дуракам всегда приятно, что их много.

— Ну, знаешь! — Светлана развернула фронт атаки. — Может быть, ты тоже попался?

Но Андрей Павлович не принял боя.

— Я нет. Мы же с тобой исключение — единственная счастливая пара на земле...

Он сказал это где-то на грани серьезного и иронии, как человек, который хорошо знает, что любая шутка несет в себе долю истины и каждая истина относительна.

— А по такому случаю и наливочки по рюмке выпить не помешало бы. Что соловья баснями кормить?..

Я, как всегда, засмутился:

— Если вы из-за меня, то напрасно...

— Почему напрасно? Вы же сегодня отличились. Представь себе, Света, он выгнал из класса Еремеева.

— Этого хама, похожего на Долохова?

— Какого Долохова? — не понял я.

— Толстовского. С наглыми прекрасными глазами.

— Света, — Ступак даже вздохнул. — Нельзя так говорить о председателе учкома. Николай Сергеевич уже получил на этот счет исчерпывающие разъяснения.

— Вот как? От кого же?

— Андрей Павлович имеет в виду мою беседу с директором.

— Я имею в виду беседу директора с вами. Так точнее.

— Да, так точнее. Но ничего страшного не было.

— Еще бы! — воскликнула Светлана, расставляя рюмки на столе. — Хотите, я скажу вам, что он говорил? — И, подражая голосу Троицкого, она произнесла: — «Вы человек еще молодой, и многого не понимаете. Прислушайтесь к опыту старших...» — Она перешла на свой обычный тон и закончила резко: — А опыт старших учит, что хама нельзя наказывать, если хам облечен доверием. Вот что он вам говорил!

Впервые она сказала о директоре так ясно и категорично. До этого Ступаки обходили школьные темы. Почему? Опасались малознакомого человека или считали неудобным навязывать мне свое мнение? Об этом я подумал сейчас. И мне очень захотелось услышать Андрея Павловича. Да, собственно, за этим я и шел сюда. Я даже схитрил немного:

— Он говорил не совсем так.

— И убедил вас?

— Нет, но во многом он, по-моему, прав. — И так как Андрей Павлович молча разливал по рюмкам наливку, я спросил у него прямо: — А вы что думаете?

Он посмотрел на меня через рюмку:

— Я думаю, что наливка в этом году лучше, чем в прошлом. И это меня радует. А что касается директора, то он не самый плохой человек на свете. Бывают и хуже. К тому же Еремеев-папа — наш шеф. А школу-то каждый год ремонтировать нужно! Вот так, милый Николай Сергеевич. А жена моя, как хохлы говорят, «дуже прынципиальна». За что я ее и люблю, между прочим.

И он улыбнулся Светлане.

Но она не ответила на улыбку. Вообще она

была сейчас другая, непохожая на ту, что недавно «сватала» меня за Викторию. Оживление прошло, и она уже не казалась девочкой: морщинки ясно проступали у озабоченных глаз. Я почувствовал, что разговор взволновал ее, и за волнением этим крылось что-то свое. Однако продолжать разговор она тоже не захотела.

— «Не все спокойно в датском королевстве»... Ну да поживете — сами увидите! Давайте лучше пьянствовать!

Наливка действительно была хороша. За второй рюмкой Ступак взял инициативу.

— Мы делаем большую ошибку, когда пытаемся подойти к вопросам руководства с позиций этики и морали. Рано или поздно управление станет наукой и перейдет в руки математиков и физиков. — Он заметил мою усмешку и добавил: — Может быть, еще при нашей жизни, Николай Сергеевич.

Андрей Павлович убежденно верил в точные науки, часто и охотно говорил об их будущем, и я любил его слушать. Но идея математизации управления показалась мне той крайностью, которой не избежал еще ни один фанатик. Я так и сказал:

— В руководящих роботов не верю.

Ступак перешел с шутливого тона на серьезный:

— Зачем роботы? Главное — разобраться в самой сути. Что такое правильное решение? Это отбор из множества вариантов одного, наиболее целесообразного. Когда отбор настолько сложен, что его трудно проанализировать на каждом этапе, мы называем его творчеством. Говорим о вдохновении. «Я помню чудное мгновенье...» Что это такое? Наверно, лучшее соче-

танье слов, выражающих ощущения Пушкина, когда он увидел Керн. Пушкин выбрал его из тысячи других вариантов, а вы, скажем, не смогли этого сделать. О чем же это говорит? Только о том, что мозг его был наиболее приспособлен к отбору словесных образов. Но делал-то это мозг, штука материальная, состоящая из клеток, сложнейшая и удивительная, но все-таки машина!

Теперь запротестовала Светлана:

— Андрей, то, что ты говоришь, — кощунство! Пушкина не трогай!

— Ты цитируешь свой учебник. Это там полицейский говорит Маяковскому: не трогайте Пушкина и другое начальство!

Я поддержал Светлану.

— Не знаю, как насчет начальства, может быть, через тысячу лет Троицкого и заменит машина, но Пушкина мы вам не отдадим!

— Хорошо, — согласился он. — Я не кровожадный. Но Троицкому тысячу лет жизни вы зря дали. Вы когда-нибудь слышали слово «кибернетика»?

— Да, конечно. Нам говорили в лекциях по философии.

— Что говорили?

— Что это... это... в общем, буржуазная мистика. Да, да... Вспомнил: «Попытки заменить человеческий мозг машиной, неверие в человека в современном капиталистическом обществе, появление шарлатанской науки кибернетики свидетельствуют о прогрессивном вырождении буржуазного Запада, попавшего после второй мировой войны в полную зависимость от империалистических кругов Соединенных Штатов Америки...» Кажется, так.

— Вы были отличником? — спросил Ступак.

— Да. А что?

— Ничего. Просто так. Мне пришлось в свое время видеть американскую зенитку, которой управляло кибернетическое устройство. Поверьте, когда она палила, как сумасшедшая, мне и в голову не приходило, что это мистика.

— Ну, знаете, одно дело пушка, а другое — директор школы!

— Николай Сергеевич, дорогой, тысячи лет потрачено на то, чтобы внушить людям мысль о незаменимости тех, кто ими управляет. Но когда-нибудь все поймут, что это в сущности обычная черновая работа, и передадут ее машинам, как мы передали автомобилям функции лошадей.

— По-моему, вы типичный технократ, реакционный утопист и идеалист.

— Других ругательных слов вы не знаете?

— Нет. Хватит с вас и этого!

Я засиделся у Ступаков в тот вечер. Мы долго еще спорили о мозге, начальстве и кибернетике, потом как-то незаметно перешли на студенческие воспоминания, причем мне удалось рассказать что-то традиционно смешное об экзаменах, преподавателях и знаменитом спортсмене, которого переводили с курса на курс, хотя он ничего не знал. Андрей Павлович слушал меня с обычной своей полуулыбкой, а Светлана вновь оживилась и смеялась от души.

Только когда я уже одевался, она опять погрузилась и сказала тепло и просто:

— Заходите чаще. С вами на душе легче.— И, как бы испугавшись грустной нотки, добавила шутливо: — Раз уж вы за девушками не ухаживаете, хоть нас, старых, побалуйте.

Домой я шел медленно, часто попадая ботинками в лужи. Прошедший день был не похож на остальные, и хотелось его как-то продумать, понять, что принес он мне — хорошее или плохое. Задумавшись, я не заметил нужный поворот и, пропустив его, зашагал в сторону от своего дома. Может быть, я и отмахал бы так пару-другую лишних кварталов, если бы этот выскочивший из ровного ряда день не приберег мне напоследок еще один, на первый взгляд малозначительный, случай.

Поскользнувшись, я толкнул кого-то, кто оказался на моем пути.

— Извините, пожалуйста!

У низкой калитки стоял мужчина, а по другую сторону — женщина, и им не нужны были мои извинения:

В зубах мужчины вспыхнула папироса, и я увидел лицо из тех, что называют волевыми, козырек офицерской фуражки и мокрый воротник шинели. Но ответить офицер не успел, а может быть, и не собирался. Вместо его ответа я услышал знакомый смех.

— Почему вы целый день свирепствуете? Выгоняете учеников, толкаетесь? Почему, а?

Конечно, это была Виктория. Поздняя встреча ее ничуть не смутила. Зато я растерялся.

— Извините, — повторил я невнятно и почти побежал вперед.

Виктория продолжала смеяться.

Добравшись до дома, я быстро разделся и натянул на себя тонкое холодное одеяло. Под ним было одиноко и неуютно. Вспомнились лицо Светланы, когда она, покраснев, поправляла волосы, и ее слова «с вами на душе легче». Потом Виктория под мокрым плащом с кашю-



шоном... «Почему вы целый день свирепствуете?.. Почему, а?» Я поймал себя на том, что вспоминаю все хорошее, что говорила о ней Светлана. И еще — что завидую тому незнакомому офицеру.

Может быть, сейчас он целует ее. А она закрыла глаза, и губы у нее мягкие и горячие. От таких мыслей засыпаешь не скоро. Я ворочался с боку на бок, сон не шел...

Вообще, в отношениях с девушками я имел опыта не больше, чем в отношениях с начальниками. Школу я кончал еще в эпоху отдельного обучения и, хотя многие из моих одноклассников дружили, как у нас говорилось, с девчонками, больше тяготел к мужской компании и на «бабников» поглядывал свысока.

Мало что дали мне и студенческие годы. Поощрялась у нас лишь одна форма любви, возникающая из дружбы на втором курсе и завершающаяся законным браком на пятом. Разумеется, любовь, не доведенная до загса, могла выражаться только в невинных поцелуях, да еще можно было сидеть рядом на лекциях. Все остальное строго осуждалось. Девушки-общественницы с энтузиазмом воспитывали подруг, дерзнувших слегка подкрасить губы или (о ужас!) расстаться с символом добродетели — школьными косичками с бантиками. Их вызывали, прорабатывали в стенгазетах и, вообще, «выводили на чистую воду». Доставалось и ребятам, посягнувшим на общепринятую ширину брюк.

Я брюки носил, как все, и, «как все», познакомился на втором курсе с девушкой, очень хорошей, которая никогда не красила губы и носила длинные, густые косы. Мы вместе хо-

дили на вечера и сидели в аудитории, она писала конспекты, а я блаженствовал от любви и безделья. На третьем курсе я поцеловал ее вечером в парке, и она тоже неумело ткнулась губами мне в щеку. От радости я забрался в клумбу и нарвал ей запретных цветов. С этого момента все шло как по маслу, и группа единодушно признала нас образцово-показательной парой.

Так продолжалось с полгода, пока однажды в кино я не положил ей руку на колено. Не помню уже, что нам показывали, но хорошо помню, с каким омерзением она отпрянула. Наверно, именно таким ей представлялись опаснейшие развратники. После сеанса она сказала мне, задыхаясь от гнева: «Если ты еще раз позволишь себе это, у нас все кончено». Я даже не пытался оправдываться.

На летние каникулы мы разъехались, а осенью стали встречаться как-то реже. Это встревожило общественность. Комсорг подружески пытался расспросить меня обо всем, но я отклонил его участие. Да и рассказывать-то было нечего. Все закончилось само собой.

Случилась у меня и еще одна любовь, на этот раз с переживаниями. Я влюбился в замужнюю преподавательницу, и влюбился настолько, что даже написал ей письмо, в котором была такая дурацкая фраза: «Уверен, что никто и никогда не будет любить вас так, как я».

На мое счастье, она оказалась женщиной умной. Очень тактично разъяснила, что я глуп как пробка, и вернула мне мое смешное письмо, которое я тут же сжег. Было очень неприятно...

Вот с таким скудным опытом я и приехал в свой Дождь-городок. Так что мне было от чего ворочаться под тонким одеялом.

□

Я всегда скептически читаю описания знаменитых тропических ливней. В моем городке воды наверняка было больше. Правда, она не обрушивалась потоками, каскадами и водопадами, зато брала системой, говоря научным языком — непрерывностью усилий на единицу площади. В конце концов земля перестала впитывать эту бесполезную влагу, и Дождь-городок превратился в степную Венецию.

К несчастью, передвигались мы по ней не в гондолах, а замысловатыми заячьими прыжками с островка на островок. В этих соревнованиях по обязательной программе побеждали владельцы резиновых сапог, я же — увы! — не входил в их число. Мои деликатные городские калоши играли в неравной борьбе со стихией чисто символическую роль. Я ходил в мокрых носках, заляпанный до колен жирным черноземом, и поминутно чихал или сморкался. Занятия утренней гимнастикой пришлось перенести под крышу. Все это не повышало моего настроения, но упасть ниже нуля оно не успело, а скоро я и совсем перестал обращать внимание на погоду.

Началось это с того, что я получил приглашение на именины. И от кого! От Виктории! Для меня это было полнейшей неожиданностью.

— Послушайте, — сказала она, поймав меня в коридоре за борт пиджака. — Что вы делаете сегодня вечером?

Ответить на такой вопрос было слишком легко, и я пожал плечами.

— Приходите поздравить меня с днем рождения! Ладно? Только не позже семи.

По дороге домой я обдумывал это приглашение и потому забрызгал штаны больше обычного. Но в целом я был доволен. Не то чтобы мое мнение о Виктории изменилось коренным образом, но оно как-то смягчилось, а главное — подвижническая жизнь с каждым днем ощущалась мной как нечто не самое лучшее в двадцать с небольшим лет.

Радость мою, правда, омрачала проблема подарка. Что я мог купить в нашем райторге? Выручила Евдокия Ивановна, которой я откровенно рассказал о своем безвыходном положении. Впрочем, откровенность эта была не вполне бесхитростной. Моя хозяйка имела слабость — комнатные цветы. Она ухаживала за ними как за малыми детьми, и они цвели в любое время года. Просить ее сорвать хоть один цветок я бы ни за что не решился, но Евдокия Ивановна и так все поняла.

— Возьмите, Николай Сергеевич. Городские девушки это любят...

Я от души поцеловал ее в висок и осторожно завернул букетик в газету. Теперь можно было вытащить из чемодана новый галстук и смочить водой вихор на макушке. Без четверти семь я выглядел не хуже, чем киноартист, играющий провинциального молодого учителя...

Виктория тоже снимала комнату, но с отдельным ходом со двора и маленькой прихожей,

в которой степной запах засушенных трав смешивался с ароматом дорогих духов.

— О! Почти без опоздания! Это делает вам честь! Прощу,— сказала Виктория и толкнула дверь в комнату.

Кажется, Уэллс придумал калитку, через которую можно было проникнуть в другой мир. Я был вторым, кто воспользовался этим способом, потому что комната Виктории не имела ничего общего ни с моим скромным жильем, ни с хаткой Ступаков, ни вообще с жилищами дождь-городских обитателей. Это был микроскопический островок иной жизни в океане саманно-камышовой цивилизации. И совершали это чудо, конечно, вещи, которыми была обставлена комната, настоящие «городские» и не по учительскому карману вещи, вытеснившие и укрывшие и глиняные беленые стены, и маленькие экономные окошки, и крашеный дощатый пол.

Я вошел в маленький мир, искусственно созданный вопреки залитому осенней грязью провинциальному городку, и хозяйка его, в лиловом очень простом платье, с тоненькой ниткой жемчуга, была женщиной из мира, страшно далекого от мира тех женщин, что я видел ежедневно,— в вязаных платках и плюшевых кофтах, которые надевали в Дождь-городке по праздникам, чтобы идти на базар.

Все в ее комнате — от мягкого, неяркого света до фарфорового китайца на туалетном столике, бесконечно покачивающего своей круглой загадочной головой,— было удивительно удобно, уютно и ненавязчиво. И мне вдруг захотелось сесть в глубокое кресло, вытянуть ноги и закрыть глаза. Я почувствовал, что устал.

Предаться слабости было, впрочем, нельзя. Неожиданности еще не кончились. Не меньше вещей удивили меня гости, если только можно назвать гостями одного человека. Правда, в первый момент я воспринял его как часть целого, то есть подумал, что он просто первый. Это был тот самый офицер, которого я неосторожно толкнул на улице несколько дней назад. На его кителе поблескивала звездочка. Я вспомнил разговор у Ступаков. Майор возился с электропроигрывателем.

— Кажется, я слишком рано, — сказал я извиняющимся тоном и положил на стол свой букетик.

— Наоборот, вы последний, — засмеялась Виктория. — Не люблю шумных сборищ. Двое-трое друзей, по-моему, вполне достаточно. Ведь праздновать особенно нечего, когда убегают годы...

Ни с одним из этих слов согласиться было невозможно. Меньше всего я мог в тот вечер считаться ее другом, и еще меньше она походила на женщину, годы которой убегают.

А Виктория уже доставала из газеты мои цветы.

— Вот это настоящая прелесть! Цветы в такой дождь! Николай Сергеевич, вы очень выросли в моих глазах. Люди познаются в подарках женщинам. А я-то ждала от вас флакона с одеколоном из раймага. Простите великодушно... И познакомьтесь, пожалуйста, с Алексеем Борисовичем.

Майор протянул мне руку. Смотреть на него было приятно: так ладно сидел на нем китель, так гладко он был выбрит и так неправдоподобно чисто поблескивали его сапоги.

Я видел танковые эмблемки на погонах, но никак не мог представить этого человека в комбинезоне и с замасленными руками.

Поглядывал Алексей Борисович на меня без лицемерной радости, но и без неудовольствия, вполне дружелюбно, как бы говоря: «Ну что я могу поделаться, если Виктории взбрело в голову тебя пригласить? Не стоит из-за этого портить настроение».

Зато я почувствовал себя дураком. Занятый мыслями о подарке, я не успел подумать о гостях. Вернее, считал само собой разумеющимся, что гостей будет вполне достаточно, чтобы затеряться среди них. Теперь же я просто не знал, как вести себя, не знал даже, о чем говорить. Мысль о том, что Виктория пригласила меня из каких-то сугубо личных соображений, пришла мне в голову и не доставила удовольствия. Выходит, я приглашен всего лишь сыграть роль какой-то фальшивой монеты в затеянной ею игре? Я почувствовал себя обиженным, смешным в глазах этого уверенного в себе офицера и пожал его руку без всякого энтузиазма.

Конечно, повернуться и уйти или хотя бы выдать свое неудовольствие было бы глупо. Да и, говоря откровенно, уходить не хотелось. Ведь за порогом этой комнаты меня снова ждал дождь, а потом тонкое одеяло на узкой раскладушке.

«Кажется, я влип, но в любой ситуации можно вести себя достойно. Нужно только сразу дать понять, что я не собираюсь участвовать в их игре. И еще — вовремя уйти. Вот и все», — решил я и почувствовал себя спокойнее.

Викторня, конечно, заметила мои колеба-

ния, потому что я поймал на себе ее подбадривающий взгляд, который означал, наверно: «Ничего страшного не будет! Не трусь и не воображай лишнего!» После второй рюмки я согласился с ней.

Угощала нас именинница традиционно, то есть всего было много. Еду мы похваливали, потому что готовила Виктория сама и приготовила вкусно. («Раз уж я баба получилась, значит, бабьи дела должна знать!») Но пили умеренно, чтобы, как говорится, себя не уронить. Постепенно ледок растаял.

Виктория вела разговор в основном с Алексеем Борисовичем, добиваясь от него чего-то своего, не совсем понятного, но для нее, видимо, важного, необходимого для какого-то внутреннего убеждения. Говорили, вопреки моим ожиданиям, о военных и о войне.

— Алексей Борисович, — спрашивала Виктория, — ведь вы, конечно, не хотите войны?

— Я два раза в танке горел...

— И все-таки вы военный. Война — ваша профессия, вы все время совершенствуетесь в этой профессии и в то же время хотите, чтоб ваши знания никогда негодились. Так ведь?

— Так точно.

— Но это же очень странно. Не могу же я желать, например, чтобы ученики перестали ходить в школу?

— А почему бы и нет? Представьте себе такое открытие: вы передаете свои знания прямо из мозга в мозг, без всяких уроков и зубрежки. То есть вы достигаете своей цели не трудным окольным путем, как сейчас, а кратчайшим...

— Нет, нет... это совсем другое.



— Почему другое? Какая цель стоит перед армией? Обеспечить безопасность страны. Война — это трудный и дорогой путь, почему же нам не хотеть другого, более разумного...

— Да нет, я просто неправильно спрашиваю. Помните, вы говорили мне, что на войне вам было страшно. Помните?

— Помню. Бывало.

— Ну расскажите какой-нибудь случай, когда вам было страшно-престрашно.

— Страшно-престрашно? — Он улыбнулся этим детским словам. — Пожалуй, под Львовом, в сорок первом... дня через три после начала войны. Мы шли по шоссе и сами не знали, наступаем или бежим. А дороги там хорошие, ровные, по обочинам — деревья.. Австрийцы еще насадили, вековые. Дело было утром. По-над землей туман, и белый, как вата, а из него большое красное солнце выкарабкивается. Кажется, рядом, вот-вот его пушкой зацепишь. Спустились в низину, идем, как по дну морскому, я четвертый в колонне. Начался подъем. Вдруг слышу: бах-бах! Передний танк остановился, и — как свечка! Белая вата черным подернулась. Туман, дым, огонь; белое, красное, черное — все смешалось...

— И все-таки вы по сей день в армии! Это очень странно и непонятно. А может быть, эти краски, о которых вы говорили, — красные, белые, черные, — может быть, это они подавили страх, и вы помните именно их, а не страх. Ведь можно прожить всю жизнь, не зная страха, ну, скажем, честным бухгалтером, но и красок никаких не увидеть?

— Не знаю, как бухгалтер, а с меня тех красок достаточно.

— Но вы их видели. Впрочем, я, наверно, говорю много глупого. — Она сказала это серьезно, без всякого кокетства. — Я ведь и сама, как тот бухгалтер, настоящего страха не знала. Просто мне слишком многое непонятно. И многое удивляет. Знаете, в этом же сорок первом году, когда вас убивали и вы горели, я училась в шестом классе и мне нравился один мальчик из девятого, такой культурный, в очках. Он в самодеятельности на скрипке играл. Они не эвакуировались, и их всех пемцы расстреляли, всю семью. Это я уже после войны узнала. А о вас, Алексей Борисович, я тогда и не слыхала вовсе...

— Я о вас тоже.

— Конечно, и вы тоже. И все это удивительно.

— Да что же здесь удивительного?

— Всё, вся жизнь, как она складывается. Она, как лист бумаги, на котором какой-то малыш рисует свои каракули. Каждая черточка — чья-то судьба. Вот он ведет карандашом одну линию, потом другую, и они где-то пересеклись, встретились. Как мы с вами. А потом снова потянутся в разные стороны, и мы ничего не сможем сделать. Малыш так хочет. Сидит и рисует глупый малыш, высунул язычок от натуги, а трое разных людей пьют водку в дождливом городе, потому что он так нарисовал. Вы понимаете меня, Алексей Борисович?

— Понимаю.

— А вы? — спросила она у меня.

— Кажется, да...

— Врете! Оба врете и ничего не понимаете. А если не врете, то я вас просто не люблю. Не люблю, когда всё понимают. И в школе нена-

вижу делать вид, что учитель всё знает. Ничего мы не знаем. И мне все время хочется сказать это ученикам. «Дети! Вас просто обманывают. Эти взрослые учителя знают не больше вас! Не верьте, что дважды два — четыре. Считайте сами!»

Виктория вдруг замолчала и оглядела нас внимательно:

— Боже мой! Как я вас заговорила! Какие вы стали серьезные и скучные. Вот так именинница!

И она рассмеялась. У нее это всегда получалось неожиданно, хотя смеялась она часто.

— Ну да ладно уж! Простите философа в юбке. Это все у меня оттого, что в девках засиделась. Замуж пора. Носки штопать да пеленочки стирать. Правда, Алексей Борисович?

— Правда, — кивнул он совершенно серьезно.

— Все понимает, все, — повернулась ко мне Виктория. — Вот такой муж мне и нужен.

Видно было, что ей нравится этот озорной, насмешливый тон, и я подумал, что, может быть, затем она меня и пригласила, чтобы иметь возможность вот так весело и безопасно поиграть с майором.

— Ведь вы все знаете, Алексей Борисович?

Но его было не так-то легко вывести из равновесия.

— Почти все... Тактико-технические данные танка, всех солдат в батальоне...

— Нет, вы в самом деле знаете больше. Раз вам было страшно, вы знаете больше. Не то что мы с Колей. Вы не обиделись, что я вас Колей назвала?

Я отрицательно покачал головой.

— Мы с Колей маленькие и глупые, особенно он. Он совсем котеночек. Мяу-мяу! Все ждет, пока его директор за хорошее поведение по головке погладит. А директор-то не котеночек, директор — тигреночек. Он и откусить голову может. Ха-ха-ха!

Кажется, ей захотелось и со мной поиграть, но она тут же остановилась, еще до того, как я успел обидеться.

— Все! Точка. Смеяться больше не буду. Вы же мои гости. Вас развлекать нужно.

И Виктория включила музыку...

Уходили мы от нее вместе. Так она решила, хотя я хотел уйти раньше.

— Пьяной девушке нельзя оставаться с мужчиной наедине...

И смеялась, выпроваживая нас на дождь...

Нам было почти по пути, и мы зашагали вместе. Майор привычно быстро, уверенно перешагивал через лужи. Я за ним вприпрыжку. То, что он так спокойно ориентировался в этом хаосе, злило меня. И еще злило его спокойное отношение к Виктории, как будто он знал, что она обязательно пойдет за него замуж и никто этому не сможет помешать.

«Собственно, что мне за дело до этих людей и их отношений?» — думал я логично, но раздражение не проходило. Мне захотелось смутить его каким-нибудь неожиданным вопросом, сбить с этого пружинистого ритма, в котором он шагал через лужи.

— Что вы думаете о Виктории Дмитриевне? — спросил я, догоняя майора и стараясь заглянуть ему в лицо.

— Думаю, что ей действительно замуж нужно.

— За вас? — брякнул я.

— За меня.

Тут я понял самую подспудную причину своего раздражения: меня он ни в малейшей степени не считал своим конкурентом. Но я же и не собирался становиться ему поперек дороги! И все-таки злился.

— Почему именно за вас? — продолжал я допытываться, как мне казалось, с вызовом.

Мы проходили как раз под фонарем. Я шагнул еще быстрее и наконец-то посмотрел на него спереди. Майор встретил мой взгляд и усмехнулся:

— Мальчик так нарисовал...

Он дотронулся пальцами в перчатке до козырька фуражки и свернул за угол.

«В конце концов ерунда все это. И взбалмошная дочка каких-то процветающих родителей, и этот самоуверенный майор с гладко выбритыми щеками, зачем они мне? Пусть себе женятся, если им нравится. Я-то что потеряю? Может, майор прав, и Виктории действительно нужно замуж? Всего только мужа. И она ловит его здесь, в Дождь-городке. Ну и черт с ней, пусть ловит! Не меня же она ловит!» Мне хотелось думать о ней резко, грубо, может быть, потому, что в глубине души в этот вечер она показалась мне лучше, интереснее, чем всегда, и как-то беззащитнее, несмотря на свой задиристый тон, и я инстинктивно стремился оградить себя от этой возникающей симпатии.

С такими мыслями вернулся я домой. Хозяйка спала. Скинув в прихожей грязные ботинки, я прошел в носках к себе в комнату и

нащупал на стенке выключатель. Зажглась лампочка, и я увидел на столе большущего таракана. Свет застал его врасплох. Он перетрусил и замер, прижавшись к ученической тетрадке. Я не стал его убивать и только стряхнул на пол. Таракан, понимая, что человеческое великодушие штука ненадежная, быстренько подался в темный закоулок.

Я прысел на койку и оглядел свое спартанское жилье: неровную стенку, к которой кнопками было пришпилено расписание уроков, лампочку без абажура под потолком, самодельный крашеный столик с пустым стаканом из-под чая.

Соревноваться с квартирой Виктории мне, конечно, не приходилось, но все-таки стало немножко стыдно за себя, за свою чемоданную обстановку. Кое-что можно было и здесь сделать посимпатичнее. Зарабатывал я неплохо, а жизнь была недорогой.

Но есть ли смысл заниматься комнатой, если не знаешь, сколько в ней проживешь? Да, я приехал сюда добровольно, приехал с желанием принести пользу, работать, но на всю ли жизнь? Или отбыть только положенный срок?

Решить это было чертовски трудно. Дело в том, что я все еще не чувствовал себя по-настоящему взрослым, самостоятельным человеком. Очень долго меня воспитывали и опекали, и хотя умом я отлично понимал, что движение по графику из класса в класс и с курса на курс закончилось и что я стою на большом шпсе и мне вовсе не безразлично, в какую машину садиться, выбрать маршрут я никак не мог. Слишком хорошо потрудились воспитатели, приучая ждать, пока мою судьбу решат стар-

шие, и вот теперь, когда нужно было все решать самому, я сидел на кровати, зная о своем будущем в сто раз меньше, чем в тот день, когда подписывал направление на работу в Дождьгородок.

Тогда я был твердо уверен, что раз меня посылают куда-то, значит, я там нужен. Но попал я не в далекую Якутию и не на романтическую Чукотку, а в обыкновенный украинский городок, который пережил и турок, и Речь Посполитую, а уж меня тем более переживет. И школа в нем работала, как давно и надежно налаженный механизм, в котором мне требовалось только ритмично и без скрипа крутиться, не нарушая мерного хода, быть легко заменяемой гайкой, а не дефицитной деталью из тех, что добывают неутомимые толкачи.

Это были беспокойные мысли. Они не впервые приходили мне в голову, но сейчас прорвались и атаковали как-то особенно настойчиво. И, думая о том, зачем я здесь, я не мог не думать о Виктории, потому что ее жизнь в Дождьгородке совсем уж не поддавалась пониманию. Так во всяком случае мне казалось. А ведь всего несколько дней назад я о ней вообще ничего не думал.

□

На другой день у Вики не было уроков, и я целое «окно» проболтал со Светланой, которая проверяла в учительской дневники. Сначала мы говорили о всякой всячине, но потом я не удержался и выдал свою тайну. Впрочем, меня никто не обязывал ее хранить.

— Если б вы знали, где я был вчера вечером!

— Где же?

— Догадайтесь.

— У нас в городе вечером можно быть только в трех местах — дома, в кино или в ресторане, но последнее не для учителей.

— Я был у Виктории Дмитриевны.

Изумление Светланы выглядело неподдельным.

— Только это секрет.

— Ого!

— Да нет! Ничего такого... Она пригласила меня на день рождения.

— И, по-вашему, в этом нет ничего такого?

— Конечно, нет. Даже наоборот.

И я рассказал про майора.

— Николай Сергеевич, вы плохо знаете женщин. Уверена, что все обстоит не так просто.

— Во всяком случае соперничать я не собираюсь!

На этот раз она не стала меня подзадоривать.

— Ну что ж, вам виднее.— И добавила шутливо:— А я-то уж испугалась, что вы нашу хату совсем забудете!..

По воскресеньям я обычно ходил в баню, писал домой письма и валялся на кровати с книжкой. Но в это воскресенье случилось неожиданное: перестал идти дождь, и даже появилось совсем забытое солнце — холодное, желтое, незнакомое. Потянуло морозцем, и я решил, что в такую погоду не стоит тратить час или два на сидение в очереди в душном предбаннике, и отправился побродить в город, то



есть на вымощенную булыжником «стометровку» между вокзалом и Домом Советов, туда, где находились магазины, кино и тот самый противопоказанный учителям ресторан, о котором говорила Светлана.

Народу на «стометровке» было невпроворот. И плюшевые кофты с цветастыми платками, и городские пальто с подбитыми ватой высокими плечами, и даже несколько залетных матросских бушлатов, чьи владельцы нарочито небрежно поглядывали на плюшевых красавиц, застенчиво поплеывающих семечками... Возле кино толкались особенно энергично и бесполезно. Зал был маленький, а кассирша, тетя Фрося, то и дело закрывала окошко, чтобы снабдить билетами с черного хода знакомых или незнакомых с записками.

Попадались и мои ученики. Один из них, по фамилии Бандура, в сапогах гармошкой, быстро сунул в рукав папироску и поздоровался со мной с вежливой ухмылочкой. Наверно, нужно было остановиться и заставить его выбросить окурок, но мне показалось наивным делать замечание этому рослому парню, и я пошел дальше.

Вообще, я был настроен снисходительно и сам был не прочь нарушить какие-нибудь запреты. Возможность для этого открывалась только одна — зайти в ресторан. Правда, дома меня ждал обед, но нельзя же каждый день есть за одним и тем же столом, покрытым синей клеенкой.

Я толкнул открывающиеся на обе стороны двери. В зале было накурено и неуютно. Фикусы в дальнем углу повисли пожелтевшими листьями. Не видно было и свободного места.

Однако оно нашлось. Совсем рядом, и я не видел его только потому, что смотрел вперед.

— Коля, прошу к нашему шалашу! — услышал я знакомый голос.

Если б я знал, что встречу майора, то наверняка бы не зашел в ресторан. Покоробило меня и это небрежное «Коля». Но не откликнуться было невозможно. Я подошел к столу.

Алексей сидел с двумя офицерами — лейтенантом и капитаном. Они обедали по-праздничному, на столе стоял графин с водкой. Четвертое место было свободно.

— Присаживайтесь! Ксаночка вас мигом обслужит.

Я присел, а майор перевернул чистый стакан и щедро плеснул в него из графина. Я не удерживал его.

— За хороших знакомых! Николай Сергеевич — учитель, — пояснил он офицерам. — Мы с ним старые друзья.

Выглядел Алексей не так, как у Виктории. Правда, щеки его были так же гладко выбриты, но глаза смотрели без подчеркнутой сдержанности. Может быть, потому, что он уже выпил, а может, просто чувствовал себя свободнее здесь, в мужской компании.

Мы чокнулись, и водка, задержавшись во рту, вызвала у меня легкую тошноту. Но я смог все-таки не торопясь отломить корку хлеба и поднести ее к носу с видом привычного человека.

— Так вы учитель? — переспросил лейтенант.

Он был совсем молодым, видно, только что из училища и наверняка окончил его с отли-

чием. У него были румяные, с золотистым пушком, щеки и крепкие руки со следами машинного масла под коротко остриженными ногтями.

— Я тоже хотел стать учителем, но вот не получилось...

— Ну и что из этого? — возразил капитан. — Каждый офицер — это педагог.

Капитан был лысоватым, выглядел старше майора, ел он не спеша и говорил уверенно, со знанием дела.

— Это верно, конечно, — улыбнулся лейтенант застенчиво. — Но, знаете, служба отнимает массу времени. Даже почитать некогда.

— Ничего ты не потерял, по-моему, — заметил капитан. — Выдумывают много писатели эти!

— Так и нужно, — сказал майор почти серьезно, только чуть-чуть сузив глаза в улыбке. — Книжки для воспитания пишут. Чтобы показать, какой жизнь должна быть, какими люди...

Я и сам так временами думал, но возразил:

— Вот здесь я с вами совершенно не согласен.

— Почему же?

— Потому что настоящий писатель показывает настоящую жизнь.

— Но это же совсем неинтересно. И даже непедagogично. Вот написать, как вы водку пьете, и получится вредная для учеников книга.

Он еще подсмеивался надо мной!

— Можно написать и другое. О вас, скажем, о вашем подвиге! — отбил я мяч.

Конечно, это был запрещенный прием. Есть вещи, которыми не шутят, и он мог просто

щелкнуть меня по носу за такой выпад, но не стал этого делать.

— Обо мне неинтересно.

Теперь я спросил почему.

— Не я первый, не я последний...

Ксаночка, молоденькая официантка с брезгливо опущенной нижней губкой, принесла борщ. Капитан разлил водку, и мы выпили еще по одной. Я почувствовал себя увереннее.

— Когда мы с вами встречались в последний раз, вы, по-моему, рассказывали интересно.

Конечно же, он не хотел, чтобы здесь говорили о Виктории:

— Не помню что-то.

— Может быть, я ошибся...

Откровенно говоря, мне не хотелось ни ссориться, ни изображать дружелюбие.

Официантка поставила на стол шницель.

— Я вас попрошу, посчитайте сразу, пожалуйста.

Она наморщила низкий лобик и стала выписывать цифры огрызком карандаша.

— Куда вы так спешите? — спросил лейтенант.

Мы перебросились всего парой слов, но я проникся к нему симпатией. Возможно, и он не знает, как ему быть завтра. Не все же уживаются в армии, особенно с такими голубыми глазами. Им явно не хватает стального отлива.

— Так, дела... К урокам готовиться нужно...

Рука у него оказалась твердой: он сжал мою с дружеской неловкостью.

На улице еще больше посвежело, но людей не убавилось. Они никуда не спешили, они бы-

ли довольны тем, что им некуда сегодня торопиться, а я тоскливо думал, что впереди у меня еще целых полдня, которые нечем занять. Не хотелось ни готовиться к урокам, ни читать. А главное — не хотелось быть одному. Хотелось быть с человеком, который мне нужен и которому нужен я. Но идти мне было некуда. Даже Ступаки, я знал, сегодня заняты домашними делами, как это обычно бывает по воскресеньям в семьях, где работают и муж и жена. Конечно, к ним можно было все-таки зайти, и, наверно, я бы так и сделал, потому что больше мне ничего не оставалось, если бы неожиданно не подумал о Виктории...

Когда она увидела меня на пороге, то удивилась и не стала этого скрывать:

— Вот неожиданность!

— Если неприятная, то я не буду и разделяться...

— Нет, почему же? Вешалка справа.

— Помню. Я ведь у вас частый гость!

— Но как вы все-таки решились?

Это слово точно выражало мое состояние. После того как я подумал о Виктории, я еще не меньше часа бродил по улицам, не зная, постучусь в ее дверь или нет. Наверно, если б не выпитая водка, решимости у меня так бы и не хватило. Поэтому я сказал честно:

— Выпил водки в ресторане.

— Водки?

По-моему, ей это не понравилось.

— Да, с вашим поклонником.

— Быстро вы подружились.

— Нет, все произошло случайно.

— И все-таки я его отчитаю.

— За что?

— Чтоб он не спаивал малолетних.

— Он меня не спаивал.

— Не сами же вы надумали пить водку!

— Вы считаете меня таким младенцем?

Она села в кресло и поджала под себя ноги.

— А что я могу поделывать, если вы действительно такой? Вы настолько такой, что я вам просто завидую. И вообще, я рада, что вы пришли, я не буду ругать Алексея. Потому что мне сегодня грустно-грустно. Я даже поплакать хотела, а тут вы пришли. Очень хорошо получилось.

— Какая вы... разная.

— Какая?

— Разная... В школе одна, позавчера совсем другая, а сейчас тоже другая.

— Какая же я сейчас?

— Не знаю, но я как-то не думал, что вам может захотеться поплакать.

— Вы считали, что я могу только «ржать, как рыжая кобыла»? Так однажды обо мне Прасковья высказалась.

— Нет, конечно. Но считал вас оптимистичнее.

— Оптимистом вы должны быть, а не я. Вы же на первой стадии...

— На первой стадии? Чего?

— А... это моя доморощенная философия. Каждый человек, по-моему, проходит в жизни три стадии. Сначала все кажется простым, ясным и нетрудным. Потом оказывается, что все наоборот — трудно, сложно и непонятно. И, наконец, последняя... Это когда понимаешь, что трудности в тебе самом. И тогда уже живешь как можешь... Вот вы пока на первой.

— А вы?

— Мне пора уже быть на третьей, но случаются рецидивы. Как позавчера. Когда снова ничего не понимаешь.

— А почему вы живете здесь?

Вопрос сорвался неожиданно. Наверно, потому, что я думал об этом, хотя спрашивать и не собирался. Но вот вырвалось.

— Мне здесь нравится.

— А вашим родителям?

— Им тоже. А может быть, и нет. 'Во всяком случае они послали меня сюда исправляться.

— Исправляться!

— Угу...

— Вы что-нибудь натворили?

— Да нет. Просто попала в фельетон. Вы не очень шокированы?

Она сидела в простеньком домашнем платье, и пряди ровных, видно недавно вымытых, волос как-то по-детски ложились ей на лоб и уши. Не верилось, что она могла натворить что-нибудь плохое, и все-таки ее слова резанули меня. Я знал, о ком пишут в фельетонах, но сказал великодушно:

— В этих фельетонах всегда раздувают...

— О-о! Вы, оказывается, благородный мужчина!

— Я же на первой стадии.

— На этой стадии люди бывают жестокими. Мягкость приходит на третьей. Ну, вы довольны моими ответами?

— Вполне.

— Кстати, если хотите, зажгите свет. Выключатель у вас над головой.

Я не хотел зажигать свет, потому что мне

было видно в окно, как темнеют за рекой красные вечерние облака, и вообще, мне было хорошо в этой комнате и не хотелось ничего изменять.

— Чуть-чуть попозже.

— Как хотите... А почему вы спросили о моей жизни здесь?

— Вы плохо вяжетесь с этим городком.

— И всё? Или слышали что-нибудь? Я ведь любопытная. Мне интересно, как мои косточки перемывают.

— Нет, ничего не слышал. Да и от кого? Я почти ни с кем...

— Да, вы бываете только у Ступаков. Это известно. А кто из них вам нравится — он или Светлана?

— Я их как-то не разделял.

— Андрей — мужик интересный. И Светка должна нравиться таким, как вы. Даже наверняка нравится.

— Почему вы так думаете?

— Замечала раза два, как вы на нее смотрите.

Я был немножко задет.

— Между прочим, она считает, что мне должны нравиться вы.

— Это она вам говорила?

— Она...

Вика негромко засмеялась. Я слышал этот смех, но лица ее почти не видел. Она сидела спиной к окну, а стало уже совсем темно. Смех был не похож на ее обычный хохот. Это был смех, каким мы смеемся, когда нас никто не видит, смех для себя.

— Почему вы смеетесь?

— Значит, и вы ей нравитесь.



Я не понял.

— Мы, Коленька, такие хитрые. И глупые очень. Представляю, как она обрадовалась, услышав твои опровержения.

Это «твои» прозвучало естественно, как будто мы были на «ты» давным-давно.

— Почему опровержения?

— Потому что ты не мог сказать, что я тебе нравлюсь. Я как раз тебе не нравилась.

— Да, тогда да.

— А теперь?

И она снова тихо засмеялась.

Чтобы ответить, мне нужно было увидеть ее лицо. Я встал и шагнул к Вике. Она тоже поднялась:

— Зажги свет, Коля...

Но и без света я уже видел ее глаза и видел, что нас только двое в этой комнате, и все, что может сейчас случиться, зависит только от нас самих.

— Вика...

Я положил ладони на ее щеки и притянул ее лицо к своему. Она не закрыла глаза, и я поцеловал ее, глядя прямо в эти широко открытые глаза, чтобы понять, что же происходит. В них не было ни смеха, ни озорства. Мне показалось, что она тоже хочет что-то спросить, что и для нее все это неожиданно, и все-таки я нужен ей, пусть только сегодня, сейчас, но я нужен ей, и от этого мне стало так радостно, как бывает, когда мальчишкой паришь во сне над землей. Я очень неловко подхватил ее под колени и, качнувшись, поднял на руки.

— Как у тебя сердце колотится, — шепнула Вика.

Потом мы вместе расстегивали ее платье и

никак не могли одолеть одну пуговицу. Было и страшно, и неудобно, и немножко смешно, и еще как-то, как это бывает в первый раз...

Когда все кончилось, мы долго лежали рядом и ничего не говорили друг другу. Я дышал запахом ее волос, раскинувшихся по подушке, да слышал ее дыхание, ровное и глубокое. Наконец, Вика сказала первая:

— Представляю, что ты сейчас думаешь обо мне...

Я не думал ничего, потому что еще не мог поверить во все, что случилось. Но слова ее вызвали ревнивую мысль. Я слышал, что мужчина после близости с женщиной испытывает к ней чувство отчуждения, и подумал, что Вике известно об этом не только из книг. Но тут же волна нежности и благодарности к женщине, сделавшей для меня так много, захлестнула эту болезненную мысль. Однако я не нашелся что сказать.

Вика встала, я слышал, как она приводит себя в порядок. Потом щелкнул выключатель. Я открыл глаза. Она снова сидела в том же кресле, поджав под себя ноги и натянув платье на колени. Все в комнате было по-прежнему, и китаец на туалетном столике продолжал меланхолично покачивать головой.

Это было поразительно, но вокруг ровным счетом ничего не изменилось. Мне вдруг стало ужасно неловко. Я вернулся на землю и не знал, что делать. Говорить о любви, просить прощения? С первым я опоздал, второе было бы глупо. Я просто подошел к Вике и сел на ковер.

Наверно, я был похож на нашкодившего щенка, потому что она улыбнулась:

— Причешись. Вихры у тебя такие смешные.

Я послушно достал расческу.

— Знаешь, я не ожидала от тебя такого... Так что ж ты обо мне думаешь?

— По-моему, ты очень хорошая...

— Женщине этого мало, Коленька.

Я положил ей голову на колени.

— Я знаю... Но я не знаю, как все сказать.

Она вздохнула:

— Ты прав. Не нужно говорить, когда не хочется.

Вика положила мне руку на голову и повернула ее лицом от себя.

— Сиди так и не смотри на меня, ладно? Мне немножко стыдно. Природа к нам несправедлива, Коля. Мы всегда виноваты...— Она погладила меня по волосам, как маленького.— И не бойся, пожалуйста! Замуж я за тебя не собираюсь. Просто ты мой сейчас, и всё. А дальше... Что будет дальше, ты знаешь? Я не знаю!

Я тоже не знал, но мне и не хотелось ничего знать. Мне было и так хорошо.

Постучали. Вика поморщилась и, мельком глянув в зеркало, пошла открывать. Я поднялся и надел пиджак. «Неужели майор?» Меньше всего мне хотелось его сейчас видеть.

Вошла хозяйка. Она оглядела меня с любопытством и сказала чуть жеманно:

— Я не знала, Витенька, что у тебя гости.

— Это наш учитель, Ольга Антоновна. Он зашел за книгой. А вы что хотели?

— Да я насчет той выкройки... Но если тебе некогда...

— Пожалуйста, пожалуйста! Садитесь, Ни-

колай Сергеевич все равно уже уходить собрался.

— Да, мне пора...

Я сказал это искренне. Чтобы все понять, нужно было остаться одному.

В коридоре она обхватила меня за шею и поцеловала.

Я вышел в темную, морозную улицу.

□

В тот вечер можно было всерьез подумать, что дожди кончились и на пороге настоящая зима. Колочий морозный ветерок быстро приводил в себя, и шагов через двадцать я поверил, что то, что было, было действительно. И мне захотелось заорать на всю улицу.

Но я не заорал, я вспомнил Викины слова «он зашел за книгой», и они охладили меня быстрее морозного ветра. Нельзя было не только орать, нельзя было даже рассказать кому-нибудь, даже Ступакам. Нельзя... Иначе вместо радости получится все наоборот, особенно для нее. Да, нам было хорошо, но хорошо только потому, что никто ничего не знает. А если узнают? Тогда, по крайней мере, одному из нас нужно будет уехать, уйти из школы. Или жениться. «Замуж я за тебя не собираюсь». Но я и сам не собирался жениться еще вчера, даже сегодня днем. «Вы, оказывается, благородный мужчина!» Выходит, не благородный? Да нет! Это глупость, конечно. Просто мы совсем не знаем друг друга. Я вспомнил, как она сказала, что приехала «исправляться», и это снова больно царапнуло сердце. Теперь особенно больно. И мне стало стыдно. Нельзя же быть

такой скотиной! Ее прошлое — это ее дело. Главное, что нам было хорошо. И ей и мне. Но это хорошее сразу породило столько трудного и непонятного, что и не разберешься сразу. Конечно, пока придется все скрывать. А возможно ли это в нашем Дождь-городке?

Вика была права — вторая стадия хуже всего, а я почувствовал, что вступил в эту стадию.

Дома хозяйка спросила:

— Где гуляли, Николай Сергеевич?

— Так, в городе...

— В кино были?

Врать было противно.

— Нет, Евдокия Ивановна, я не был в кино. Пообедал со знакомыми, прошелся немного — вот и все...

— А я вареников сварила.

— Спасибо, завтра поем, я люблю поджаренные...

— Ну, отдыхайте.

Я вошел в свою комнату и тут только вспомнил, что не взял у Вики никакой книжки. Хозяйка ее, конечно, заметила это. Значит, и врать нужно уметь? Что ж, придется учиться... Но зачем? Что мы сделали плохого?..

Мысли эти вытеснил сон. Засыпая, я снова услышал на подушке рядом с собой запах ее волос, и последняя мысль была о том, что в этом городе есть женщина, которая целовала меня два часа назад... «А дальше... Что будет дальше, ты знаешь?» Я, как и она, не знал.

Наутро, впервые со дня своего приезда в Дождь-городок, я шел в школу, не думая ни об уроках, ни об учениках. Я думал о том, как

мы увидимся с Викой. Как поведет она себя со мной? Я боялся и ее подчеркнутого внимания, и полного равнодушия. Ведь последнее означало бы, что вчерашний вечер был случайным.

Не знаю, догадалась ли Вика обо всем, что мучило меня, но она улыбнулась мне просто, почти по-товарищески, и улыбка эта, успокоившая меня, говорила: «Что, туго приходится на второй стадии? Ничего! Все будет хорошо, если ты и я этого захотим. Но только ты и я. И никто больше. Больше это никого не касается».

В этот день Вика не хохотала в учительской и никого не задирала. И даже Прасковье, сменившей по случаю сезона одну кофту кольчужного типа на другую, не менее прочную, сказала без насмешки:

— Вам идет эта кофточка, Прасковья Лукьяновна.

Старуха была польщена...

На урок я пошел в том редком и счастливом настроении, когда не хочется ставить даже троек, когда хочется быть хорошим и добрым, хочется любить всех учеников, даже Еремеева и Бандуру, и хочется, чтобы они тоже любили тебя.

Все это класс увидел сразу и сразу же постарался извлечь из моего настроения свои маленькие выгоды. Я не осуждаю ребят. Им тоже приходится туго: пять-шесть часов в школе да сколько домашних заданий! Пожалуй, для их возраста это слишком высокое давление. Однако если клапан приоткрыть, в него всегда устремляется струя более шумная, чем хотелось бы учителю.

Но у меня уже был некоторый опыт, и я быстро отрегулировал давление, дав ясно понять, что хотя сегодня кое-что и можно, но далеко не все. Проверенная отличница Ляховская пошла к доске, Бандура срочно листал учебник, а спрошенные два-три урока назад негромко шептались или читали под партами книжки. Я присел на подоконник и, постукивая указкой, время от времени утихомиривал наиболее энергичных, раздумывая о том, что каждый учитель немного напоминает кочегара, у которого на попечении котел под паром. И я прислушивался к легкому шумку в классе, как кочегар слушает гул своего котла.

Шумок стих неожиданно и вне всякой связи с моей указкой. Я поднял голову, как солдат, проснувшийся от того, что утихла канонада. Ученики прилежно смотрели на меня, так прилежно, что я почувствовал небольшую тревогу. Они уже знали что-то такое, чего я еще не знал. Я пробежал глазами с лица на лицо, начав с дальнего угла и закончив первой партой. Еремеев сидел, как ангел, сложив ручки, но мне показалось в нем что-то злорадное. Я глянул на малыша Комарницкого. Они по-прежнему сидели вместе. Комарницкий учился в целом неважно, но обожал физику и был любимцем Андрея Павловича. Свое отношение к моему предмету он выразил однажды в конце урока, когда я записывал на доске домашнее задание. Малыш вздохнул глубоко и горестно и сказал, совсем как взрослый:

— Но это же просто невыносимо.

И все-таки я любил его и знал, что он тоже любит меня.

Вот и сейчас он, встретив мой взгляд, неза-

метно и заговорщически повел глазами в сторону двери. Там стоял директор.

Я уже говорил, что двери были до половины застеклены, и застеклены не только для того, чтобы пропускать свет в коридор. Через них было очень удобно наблюдать незаметно из темного коридора, что происходит в классе. И директор делал это мастерски, у него была вкрадчивая, почти бесшумная походка.

И теперь он отошел от двери совсем тихо, заметив, что в классе увидели его. Нетрудно было представить себе его впечатления — ученики шепчутся, читают посторонние книжки, а учитель сидит на подоконнике и думает черт те о чем! И нужно же ему было подсматривать именно сегодня! Ох уж эта ложка дегтя, которая всегда находится в самый радостный день!

На перемене я ждал заслуженной нахлобучки и, наверно, получил бы ее, если б Троицкого не отвлекли.

Отвлекла Прасковья. Голос ее я услышал еще за дверями учительской, но она, видно, меньше всего думала о том, что есть вещи, которые ученикам слышать необязательно.

— Такого в моем классе сроду не было! Двенадцать двоек! Да что ж у меня, одни дурни собрались, по-вашему?

Орала она на Светлану, а та нервно отламывала щепки с указки и ничего не отвечала.

Тут же стоял и Троицкий. Наверно, ждал, пока Прасковья утихомирится, чтобы внести руководящую ясность в конфликт. Зато я не стал ничего ждать и улизнул из учительской, по-мальчишески довольный, что начальству не до моих грехов. Прасковьиному крику я не



придал никакого значения, она кричала слишком часто, а о директорском подглядывании забыл уже на следующем уроке. Помнил только одно — улыбку, с которой поздоровалась со мной Вика. Она означала, что вечером я буду у нее...

Время между последним уроком и тем часом, когда можно было выйти из дому, показалось мне очень длинным. Не скажу, чтобы это было сплошь радостное ожидание, скорее, хаос самых противоречивых чувств — то подхватывающих на крылья, то обрушивающихся холодным душем, неустрашимых и малодушных, которые под конец так перемешались, что я совсем в них запутался, и, только увидев зеленый свет в ее окне, почувствовал себя легко и свободно.

Я поднялся на порог, придумав множество чудесных слов, чтобы сказать, когда войду в ее комнату, но они не понадобились. Открыл мне... майор. Хорошо, что в самый последний момент, когда я уже постучал, меня снова охватило волнение, и он не увидел дурацкой счастливой улыбки на моем лице. Зато он заметил, наверно, как оно глупо вытянулось.

Собственно, удивляться мне не стоило: ведь он был здесь куда более частым гостем, чем я! Но обо всем этом я совершенно позабыл. В своем лихорадочном состоянии я умудрился обдумать целую кучу невероятных вариантов наших с Викой будущих отношений, однако эту главную фигуру на шахматной доске проворонил совсем по-дилетантски.

И вот неожиданно появившийся ферзь полностью разрушил мои построения, и, снимая пальто, я думал только об одном — как бы скрыть от них, что я круглый идиот.

— Николай Сергеевич, простите ради бога, но Алексей Борисович совершил подвиг — достал билеты в кино! Отказать ему не смогла бы ни одна женщина.

Значит, нужно было сразу же уходить. Это немножко поддержало меня, потому что переживать такое поражение в одиночку все-таки легче. Я собрался с духом и сумел даже сказать, как мне показалось, саркастически:

— Да я, собственно, за книжкой, что вчера забыл взять.

Но удар не достиг цели.

— Да-да... — откликнулась Вика вполне серьезно. — Как же это! Кстати, Алексей Борисович, я вами недовольна. Ведь это вы напоили Колю так, что он забыл даже, зачем пришел.

— Вот уж не думал. Он держался молодцом. Может быть, здесь потерял память?

— Сейчас я принесу книжку. Она у хозяйки.

Вика вышла.

«Зачем ей потребовалось приплетать сюда хозяйку?» — подумал я безразлично.

Майор смотрел на меня весело и великодушно. Наверно, я казался ему этаким бесспорным неудачником, которому можно и посочувствовать.

«Жаль, что он никогда не узнает про вчерашний вечер. Ему бы стало погрустнее», — утешил я себя мстительной мыслью.

Вернулась Вика и протянула мне какую-то книжку. Я, как студент, засунул ее между пуговицами пальто.

Проводили они меня очень вежливо.

По пути домой я четко сформулировал итог

солидными мужскими словами: «Жалеть не о чем, если ей все равно, с кем спать, не велика потеря!»

Но потеря отдавалась болью, давила, как давила грудь острым углом ненужная книжка. Я вытащил ее из-под пальто и хотел было швырнуть за ближайший плетень, но успел резонно сообразить, что это будет уже истерика, и постарался успокоиться. Мне даже захотелось узнать, а что это за книжка. У неподбитого фонаря я развернул ее, потому что обложка была обернута в газету, и увидел записку:

«Приходи в одиннадцать. Если на окне будет ночник, входи без стука. Дверь будет отперта. В.».

Я свернул записку и спрятал ее в карман. Было неожиданно и беспредельно радостно, а еще смешно и стыдно. Потом посмотрел на часы. До одиннадцати оставалось три часа. Идти домой было невозможно. Это значило снова думать и думать. Да и неудобно уходить из дому так поздно. Я пошел к Ступакам.

□

У Ступаков царило уныние. Я заметил это сразу, да и Вовка, серьезный мальчишка, преисполнившийся ко мне честного детского доверия с первых дней нашего знакомства, сказал откровенно:

— Дядя Коля! А мама плакала...

Андрей Павлович смущенно потрепал его по головке:

— Дяде это неинтересно, малыш.

Светлана с припухшими глазами улыбнулась виновато:

— Часа два проревела...

А я-то собирался поболтать о какой-нибудь чепухе!

— Неужели из-за этой старой дуры?

Она кивнула.

— По-моему, зря вы... У нее вообще заскоки, но директор-то разберется?

— Уже разобрался.

— Ну и что же?

— Он тоже считает, что в показательном классе не должно быть двоек.

— Это понятно. Класс без двоек — голубая мечта каждого директора. Но что вы можете сделать, имея час в неделю, если их за восемь лет не научили русскому языку?

— Посмотрите сами, что я могу сделать...

Она бросила мне на колени несколько тетрадок. Я открыл верхнюю и мельком глянул на красные чернила, прошнуровавшие строчки сверху донизу.

— Покажите все это Троицкому.

— Троицкий видел. Он не хуже моего знает, что полкласса пишут корову через ять. Но ему нужны не знания, а оценки. Хотя бы тройки...

— Света, не горячись, — попросил Андрей Павлович.

Я тоже не хотел, чтобы она нервничала, да и вообще, повседневные учительские заботы были от меня так далеки в тот вечер! Что за важность, в самом деле? Обычные пререкания из-за пресловутого процента успеваемости...

— Ну так поставьте эти тройки. Порадуйте старика и себе нервы сберегите!

Я смотрел на нее и улыбался, думая не о том, что говорит она и что я ей отвечаю, а о

том, что ей идет быть такой взволнованной, с такими порозовевшими щеками, немного спутанными волосами и глазами, в которых все время вспыхивают блески. Но тут блески исчезли, и в глазах что-то потухло. Я понял, что сморозил глупость.

— Значит, делать подлости?

— Почему подлости? — возразил я не менее глупо. — Вы уверены, что правильно его поняли?

— Какой вы, Николай Сергеевич, еще... — она наверняка хотела сказать «глупый», но сдержалась, — ...наивный! Или не наивный? Может быть, вы совсем не наивный, а?

— Светлана! Не нужно обижать Николая Сергеевича, — сказал Ступак серьезно.

— Еще бы! Ну за что его обижать-то? Ведь он только посочувствовал бедному старику, которому так неприятно, что милые шаловливые дети плохо учатся русскому языку. Ах уж этот благородный седой старик и строптивая молодая учительница! Почему она не слушается доброго дедушку? Ведь дедушка дает такие хорошие советы! Дедушка-то все знает и плохого не посоветует. Вот разъяснил он Николаю Сергеевичу, что нельзя ругать хама Еремеева, и Николай Сергеевич больше Еремеева не обижает. Потом разъяснит, как процентик поднять, и Николай Сергеевич поднимет... Эх, Николай Сергеевич, не хотела бы я с вами работать через пару лет, когда вы все дедушкины советы-то усвоите!

Мягко говоря, это было несправедливо, но я все-таки почувствовал себя виноватым, виноватым хотя бы потому, что несерьезно отнесся к ее волнению.

— Напрасно вы меня так...

— Совсем напрасно,— подтвердил Ступак.— И завтра же будет жалеть, что наговорила чепухи...

— Может быть, и буду! Но я говорю, что думаю, а вы, мужчины, всегда умудряетесь говорить то, что считаете нужным. Потому вам и не приходится жалеть о сказанном.

— Неужели Троицкий хочет, чтобы вы вышляли оценки?

Светлана кивнула на мужа:

— Спросите у него.

Я посмотрел на Ступака.

— Света, если мы каждый раз будем атаковать Николая Сергеевича морально-этическими проблемами, он просто перестанет к нам заходить...

Ушел я от них, когда до одиннадцати оставалось еще больше часа. Час этот нужно было провести на ногах. Я поднял воротник, потому что было холодно, и зашагал по ближайшей улице. Под ноги то и дело попадались подмерзшие комья грязи. Нечастые фонари покачивались на ветру, и в желтых кругах, которые они отбрасывали вниз, земля с кочками и ухабами двигалась то туда, то сюда.

Я старался обходить эти светлые пятна и держался поближе к домам, давно уже отгородившимся от улицы прочными ставнями. Правда, прохожих не было видно, но мне не хотелось попадаться на глаза даже случайному человеку. Городок был слишком мал, а я как никак вступил на неверный путь нарушения общественной морали...

Почему-то меня потянуло к реке, хотя я и знал, что там холоднее, чем среди зданий. Я спустился к мостам и попал в полнейший мрак. Даже тусклые уличные лампочки остались где-то на горе. Я прислонился к ненадежным перилам и глянул вниз, в черную, почти невидимую воду. Такая вода, темная, холодная, всегда пугала меня во сне. Мне с детства снились такие страшные сны, будто меня несет в лодке или на плоту черный поток, справиться с которым нет сил, только уткнуться головой куда-нибудь, чтобы ничего не видеть, и ждать, когда же кончится этот отвратительный сон.

И сейчас, хотя я не спал и мне нечего было бояться, я почувствовал страх, извечный человеческий страх перед тем, что будет, когда все кончится, и хорошее и плохое, когда не нужно будет волноваться или радоваться. Конечно, это случится еще очень не скоро, так не скоро, что в это и не верится по-настоящему, но, глядя в тяжелую, мутную воду, бежавшую подо мной, я остро, может быть впервые в жизни, ощутил, что каждая минута, которая уже прожита, никогда не вернется, как и этот поток...

Хотя к дому, где жила Вика, я подошел раньше назначенного срока, ночник уже горел на окне. На всякий случай я прошел до угла, убедился, что вся улица спит, и только тогда толкнул калитку.

Калитка не скрипнула, дверь тоже отворилась бесшумно.

— Снимай сразу туфли, — шепнула Вика, и я услышал, как повернулся ключ в замке.

— Я видела, как ты ходил по улице. Ты был похож на американского шпиона.

— По-моему, шпионы храбрее, — отшутился я.

Она прижалась ко мне и почувствовала, как я дрожу.

— Замерз?

— Да. Больше часу бродил по городу...

— Сейчас согреешься...

Вика потеряла ладонями мои замерзшие уши.

Я посмотрел на разобранную постель, белевшую отглаженным пододеяльником, и нажал кнопку ночника. Теперь нужно было раздеться, совсем как дома, повесить на спинку стула пиджак, развязать галстук. Я делал это, плохо владея не отошедшими еще от холода пальцами, и не понимал, почему все необычайное бывает таким обыкновенным.

— Ты просто ледышка...

Я провел рукой по ее лицу, волосам, плечу, потом вспомнил черную воду в реке и не поверил, что черная вода была. Мне хотелось сказать Вике об этом, но это было трудно объяснить, да и не нужно, наверно. Вместо этого я неумело ласкал ее, поражаясь тому, что двадцать с лишним лет жил, ничего не зная о ней. Это было так же невероятно, как и то, что сейчас эта женщина была со мной.

Так прошло очень много времени, пока она не спросила:

— Какой у тебя завтра урок?

— Первый...

На туалетном столике чуть-чуть светились стрелки маленького будильника. Вика поднесла его к глазам.

— Между прочим, у меня только третий.

И засмеялась, как маленькая девочка, которой удалось обмануть взрослого.



— Сколько там?

— Четверть четвертого.

Уходить было мучительно. Я прислушался к ветру за окном.

— Что, неохота? Ничего, мальчик! Спать до утра будешь с женой. А свобода требует жертв.

Я вздохнул и сел на кровати. Как мне хотелось уткнуться носом в подушку и заснуть!

— Коля.

— Что?

— У меня есть одна просьба. Только она трудная-претрудная.

— Ограбить раймаг? Добиться стопроцентной успеваемости?

— Нет. Гораздо труднее... Выполнишь?

— Обязательно.

— Знаешь, Коля, вот пройдет много-много времени. Ты будешь почтенный отец семейства, уважаемый человек. По ночам ты будешь спать не в бумажных трусах, а в мягких заграничных кальсонах, и под боком у тебя будет мирно посапывать ворчливая жена... Вот в одну из таких тихих ночей проснись в четверть четвертого и вспомни не неприятности на службе, а меня, ладно?

— Ладно, — пообещал я разочарованно. — Тоже мне, нашла трудную просьбу!

— Ох, какая трудная, Коленька! Очень трудная... Все мы забываем так быстро, а хорошее быстрее всего. Я вот, дура, и плохое забываю... Но ты все-таки вспомнишь, а?..

Утром, когда я с наслаждением растирал грудь и плечи мохнатым полотенцем, хозяйка спросила, чуть улыбнувшись:

— Вы, Николай Сергеевич, припозднились вчера?

— Немножко,— ответил я таким же тоном. Больше она ничего не спросила, и я лишний раз подумал, что с хозяйкой мне повезло.

Говорят, что в маленьком городке скрыть ничего невозможно. Наверно, так оно и есть, и если о нас с Викторией никто не узнал, то это оказалось тем самым знаменитым исключением, что изредка подтверждает правило. Нам повезло. Единственным человеком, который знал о моих ночных отлучках, была моя хозяйка, но она не принадлежала к числу сплетниц. Остальных мы обманули.

Это, разумеется, удивительно. Ведь мы каждый день встречались на работе, на виду у многих, а конспиратором я был самым никудышным. Выручала меня... неопытность. Да, именно неопытность. Очень долго я не мог совместить ту Викторю, которую видел в учительской — едкую, насмешливую, независимую, с Викой, что встречала меня ночью. Мне никак не удавалось искоренить в себе идиотскую мысль, что это совсем другая женщина, что, подойди я к ней в школе и скажи: «Вика, родная...», она рассмеется мне в лицо, если даже рядом никого не будет. И я просто робел перед ней.

Но была, конечно, и осторожность. Осторожность не из страха. Да, мы прятались, и это несомненно, но прятались не потому, что считали, что делаем нечто постыдное и нехорошее. Мы берегли наши отношения, и я обещал Вике, что никто не кинет в нее камнем по моей вине.

Иногда это напоминало озорную мальчише-

скую игру, и тогда мне хотелось похвалиться своей ловкостью. Однажды я сказал Вике:

— Ну чем я не подпольщик?

Она ответила неожиданно, но чисто по-женски:

— Тебе это легко. Ведь ты меня не любишь.

Это было несправедливо; хотя в нас и не бушевали те неуправляемые страсти, что сводят с ума, мы знали, что в промокшем Дождь-городке этой зимой нет более близких людей, и, хотя оба чувствовали, что жизнь ведет нас разными дорогами и соединила ненадолго, не думали об этом. Место часто сопутствующего любви собственничества в наших отношениях занимало дружеское участие... Много это или мало? Думаю, что много. Мы были нужны друг другу.

Вика часто рассказывала о себе... Рассказывала такое, что, наверно, не рассказала бы мужу. Существуют вещи, которые не стоит рассказывать близким, разве что раз в жизни другу, с которым редко видишься. А я был вроде такого неожиданно нагрянувшего друга.

Мы лежали рядом долгими зимними почками, слушали, как шуршит дождь по камышовой крыше, и она рассказывала.

□

— Знаешь, Коленька, я уже притерпелась к своей фамилии и почти не замечаю, как пошло она режет слух. Виктория Хрякина, конечно, ужасно. Утешаюсь я только тем, что это не моя фамилия и, надеюсь, временная. И отчество у меня не мое. Отца моего звали... Ну да какая разница, как его звали. Кроме меня, это теперь

уже никому не нужно. Он был большой-большой и тоже рыжий. Однажды мы с матерью пошли в магазин, и я потерялась. Мне было лет пять. Когда меня привели домой, на матери лица не было. Вместо того чтобы обрадоваться, она кинулась меня колотить. Но отец поднял меня на руки, посадил на шею и говорит: «Держись, Витька! Здесь тебя никто не достанет!» И я сидела и держалась за его рыжие вихры, а мама была внизу, далеко-далеко...

А Хрякин — толстый и зачесывает волосы от уха до уха, чтобы спрятать лысину. Я знаю, у него даже в служебном кабинете зеркало, чтобы следить за лысиной. Но тогда, конечно, он поинтереснее был, хотя белый очень. И брови белесые, противные. В маму он влюбился здорово. Она на меня совсем непохожа. Мать у меня брюнетка, стройная такая, хрупкая. Ее и сейчас на улице девушкой называют.

Не берусь их судить, но с отцом у нее жизнь не сложилась. Почему? Всего я, конечно, не знаю... Думаю, не сошлись характерами, как говорится. Очень уж разные они были. Отец беспокойный, а мама терпеть не может неблагополучия. Короче, ушла она от него... Потом отец исчез... — Вика помолчала. — Понимаешь?.. Мне сказали, что он умер. А меня удочерил Хрякин. Благородство проявил или просто счел, что так лучше. Зачем чужой фамилии маячить рядом? Так или иначе, Коля, а бог добрых дел не забывает и Хрякину послал процветание на высокой хозяйственной работе. Дом у нас — полная чаша. Переполненная даже. Всего мне хватало. К праздникам дорогие подарки получала. Когда я брала их, мне представлялась такая картинка: Хрякин сидит в кабинете за

огромным столом с телефонами, а перед ним почтительно согнулся секретарь с блокнотом: «Еще, Дмитрий Федорович, просили напомнить насчет дочки...» — «Насчет дочки?» — «Так точно. День рождения...» — «А-а... Это помню, помню. — Хрякин лезет в карман пиджака. — Вот что, голубчик. Прокатись-ка по магазинам, подбери что-нибудь. А то у меня совещание сегодня, сам знаешь. — И достает из кошелька несколько больших бумажек. — Не хватит — добавлю. А ты уж постарайся, чтоб мне дома лицом в грязь не ударить. Понимаешь?» — «Будьте уверены, Дмитрий Федорович. Как не понять? Такое дело...» Ты уже, наверно, устал, миленький, меня слушать?

— Нет.

— Ну, ладно. Так ты понял, почему я не люблю Хрякина?

— Понял.

— Жить в доме было тускло. Помню, к отцу приходили гости. Никто их не приглашал. Они врвались неожиданно, но им были рады. Становилось тесно, шумно и весело. Хорошие песни цели:

По военной дороге  
Шел в борьбе и тревоге  
Боевой восемнадцатый год...

А меня подбрасывали к потолку и смеялись: «Витька, хочешь быть летчиком, как Осипенко?..»

У Хрякина к приходу гостей готовились за неделю. Он диктовал маме из записной книжки, кого нужно пригласить и что кому нравится, а потом ходил вокруг стола и нюхал тарелки и бутылки. Сходились гости долго, ели не

спеша, со вкусом. Ели и беседовали: «Хороша икорка!», «А сколько этот сервис стоит?» Уевшись, начинали танцевать под радиолу. «Митичка, «Брызги шампанского!» К десерту вызывали меня, и Хрякин говорил солидно: «Дочка у меня образованная. Сыграй, Виктория, Чайковского». Я смотрела на мать, и она тоже говорила: «Сыграй, Витусенька».

Мне хлопали, и кто-нибудь произносил глупокомысленно: «Да, Дмитрий Федорович, завоевали мы жизнь для детей. Ничего не скажешь...»

Когда гости расходились, Хрякин зевал устало и развязывал толстый шелковый галстук — он это позволял себе в такие дни. А обычно ходил в полувойенном кителе. «Ну, кажется, все довольны. А рюмки хрустальные ты зря ставила. Побить могут». — «Я же как лучше хотела». — «Тоже правда...»

Вот так я и жила, Коленька. Ты не заснул, малыш?

— Нет. Рассказывай.

— Да что рассказывать? Скучно...

Но через день или два она возвращалась к прерванному рассказу.

— Так я и жила, а потом поступила в институт. Да там и влипла. По глупости, конечно. И еще оттого, что домашнее благоденствие мне такую оскомину набило — хотелось чего-то ни на что не похожего. А где девчонка ни на что не похожее ищет? В любви, понятно.

О любви я мечтала необычной, не такой, как у всех. У всех что? Мальчишки, студентки... В кино бегают, по подъездам целуются. Я тоже целовалась... пока не влюбилась.

Он преподавал у нас зарубежную литературу и напоминал героя из повести Грина. Зна-

ещь, есть такой космополит, выдумывал разные страны... Мой герой курил трубку, носил свитер и прохаживался по аудитории, как шкипер на палубе. А главное — знал множество стихов и читал их, как читают поэты — с подвыванием. И обязательно уставится на какую-нибудь девчонку. Девы млели, а я спичкой вспыхивала. Он заметил это и стал читать только для меня...

И все-таки совратить, как говорится, меня ему бы никогда не удалось. Я все сама себе внушила. Весь набор побрякушек, которыми девчонки тешатся: и красивый он, и умный, и вообще необыкновенный, а жена, конечно, у него старая мегера, поэтому и глаза у него такие грустные. Короче, я ему необходима...

Он ко мне относился куда реальнее. Считал, наверно, за хорошенькую дурочку. Да я такая и была. Других хоть соблазняют, а я сама... Было стыдно и противно, но уж больно мне хотелось испытать что-то необыкновенное. Тебе не противно это все слушать, миленький?

— Нет, — ответил я мужественно.

— А то скажи, я не буду.

— Рассказывай.

— Что ничего необыкновенного не получилось, я поняла, как только открыла глаза и посмотрела на него. Он страшно напоминал Хрякина, когда тот закусывал перед обедом рюмку водки черной икрой. Такое же умиротворенное выражение лица. «Вот я и сделала человека счастливым», — подумала я, и мне захотелось зареветь горькими-прегорькими слезами.

Он, наверно, сообразил что-то, потому что упал на колени и прошептал: «Благодарю, прекрасная!» Во рту у него я увидела вставные

зубы. «Не стоит», — сказала я. Когда возвращались с его дачи, думала тоскливо: «И это все?..» Но винить было некого. Оставалось, говоря высоким штилем, испытать свою чашу до дна. Как ни горько, но скоро я убедилась, что нужна ему не больше, чем любая другая молоденькая и смазливая девчонка. Даже, наоборот, меньше, потому что у меня было много претензий. Ведь я искала в нем то, чего в нем не было. Пришлось сознаться самой себе, что я оказалась идиоткой, что я его не люблю и не любила, что все, что я о нем выдумывала, не имеет с ним ничего общего. Я была разбита по всем пунктам. Даже его жена оказалась симпатичной и несчастной женщиной. Нужно было уходить. Мне приходило в голову много милых женскому сердцу планов. То я хотела бросить его эффектно: поехать с ним в Сочи и там уйти к какому-нибудь спортивного вида красавцу. То хотелось припугнуть его скандалом. Это была бы жестокая месть, потому что трус он был страшный. Но я добрая, Коля, я ушла, не хлопая дверью, тихо уползла зализывать свои раны в берлогу...

Несчастья имеют и положительные стороны. Об этом еще Гоголь писал. От них мы немножко умнеем и становимся не такими тщеславными и самоуверенными. И вообще, расширяется кругозор. Я, например, обнаружила, что я дура душой. Не в житейском смысле. Это само собой. А, так сказать, в общеобразовательном, и, кроме учебников, ничего не знаю. Поэтому я засела за разные книжки, благо от любви время высвободилось. Книжки, Коленка, тоже дело полезное. Из них узнаешь, что все твои несчастья уже тысячу раз случались



с другими. От этого становится легче. Кроме того, я много зубрила язык. Так ранки постепенно и затянулись. Правда, в дождик ноют иногда, но это ничего, это уже не страшно. Да еще с тех пор меня здорово воротит от благородной седины. Кстати, ты нашего папу любишь?

Папой она называла директора.

— Не знаю, сначала он мне понравился, а теперь...

— Светка разоблачает?

— Ты все связываешь с ней.

— Нет, на этот раз не связываю. Просто они большие враги...

— Да, она его не любит.

— Он ее тоже. И склюет в конце концов.

— Светлана будет отбиваться. Да и Андрей Павлович...

— Андрей не в счет. Наоборот даже.

— Почему?

— Потом как-нибудь.

Но потом она снова рассказывала о себе...

— Собственно, грехов, Коля, тяжких я больше не совершала, но это не помешало мне попасть в другую, на этот раз смешную историю. Хотя, как сказать — смешную? Кое для кого она кончилась очень даже печально.

Началось все с того, что у меня появился активнейший поклонник, почти жених. Причем красавец. Таких только на открытках рисуют с надписью: «Пусть жизнь твоя течет рекою, имея множество цветов...» Как-то он поведал мне свою родословную: оказалось, что в нем играет кровь целого десятка кавказских народов и даже ассирийская.. И звали его шикарно — Автандил. Я спросила, что значит «ндил»? «Авто» мне понятно: «авто-мобиль», «авто-мат»,

а вот что такое «Авто-ндил», я не знаю. Он страшно разгорячился и разъяснил, что «то савсэм другие «авто». Они пишутся через «о», а он, Автандил, через «а». Короче, древние ассирийцы, видимо, были люди серьезные и юмора своему потомку не завещали: Зато иные достоинства в нем сосредоточились в избытке. Начать с того, что Автандил пел, и не в какой-нибудь самодеятельности, а в эстрадном оркестре в кино. Это обеспечивало ему популярность в городском масштабе. Такую популярность, что какая-то дура даже умудрилась выдрать его карточку с витрины фотоателье.

Но главное, конечно, то, что он умел ухаживать за женщинами. Мой доцент тоже был опытным сердцеедом, но он выступал совсем в другом амплуа. В амплуа, я бы сказала, дворняги. Его грустные глаза скулили: «Как одинок я в огромном мире. Приди, погладь меня между ушами». Это действует, сама убедилась, но до Автандила ему было далеко. У Автандила глаза пылали несгорающей страстью, они кричали: «Мира нет вообще, есть только ты, любимая!»

Отношения мужчины с женщиной Автандил понимал, как войну за крепость. Сначала ее пытаются взять штурмом, потом затевают осаду, а если и это не приносит результата, то отступают или заключают мирный договор, заверенный в загсе. Автандил тоже начал со штурма с подкопом. Недаром же ассирийцы славились военными хитростями.

Он познакомил меня со своими друзьями. «Умнейшие, талантливейшие люди»,— говорил он с пафосом и вращал черными, как южная ночь, глазами. Я осмотрела их одного за дру-

гим — дело было на «товарищеской вечеринке», как назвал это сборище Автандил, — и обратила внимание только на одну особенность «талантливейших»: все они были тощие, а их подруги, наоборот, как на подбор — толстухи. Мне даже неудобно стало за свои умеренные габариты.

Один из «умнейших» пронзл меня немигающим взглядом и завыл протяжно: «Не говори мне своего имени, ты — рыжая роза Миссисипи!» — «Вы могли бы называть меня и на «вы», — посоветовала я ему миролюбиво. «Он поэт, — объяснил Автандил. — Ты даже не представляешь, какой у него талант! Его никто не понимает!» — «Возможно. Но насчет розы — это было у Эренбурга». Автандил покачал головой недоверчиво.

Потом все пошло, как водится. Пили водку, которую называли джином, танцевали под «настоящие заграничные» пластинки, причем Автандил друзей ко мне не подпускал, за что я ему до сих пор благодарна. Поэт читал свои стихи:

Закована в решетку  
И рвется дева,  
Как в бурю лодка,  
Трепещет тело...

Смысл стихов сводился к тому, что дева должна преодолеть ложный стыд и отдаться поэту. По-моему, и все остальные стихи пишутся с той же целью. Во всяком случае, это стихотворение я поняла правильно, потому что скоро потушили свет.

Когда я услышала, как бурно вздымается рядом со мной грудь Автандила, то решила, что

для первого раза хватит. Встала и включила лампочку. Толстухи зажмурились и стали быстро застегивать кофточки. «Талантливейшие» смотрели с недоумением. Мне пришлось извиниться. На прощание поэт сказал, все так же не мигая: «Роза показала шипы и уходит».

Я думала, что мой ассириец будет в ярости, но он оказался очень доволен моей добротелью и заявил, что такой девушке, как я, конечно, не место среди этих потаскух. Друзей обвинить он не решился.

С этого дня началась планомерная осада. Автандил был из тех, кто не допускает даже мысли о поражении. Используя отнюдь не секретное оружие — ББК (билеты, букеты, конфеты), он, изгнанный в дверь, возвращался через окно. Намерения его были самыми благородными, и ему удалось даже понравиться маме. Зато отчим сразу заподозрил его во всех смертных грехах и слышать не мог об «этом армяшке», как он называл Автандила, чего тот, разумеется, не знал и, склонный к восторгам, говорил об отчине только в превосходной степени: «Вика! Твой папа большой человек! Вот увидишь, он министр будет!» Кто знает, может быть, эта мысль и питала его неукротимую любовь? Но не хочу думать о нем плохо. Парень он был добродушный. Да и жениться на дочке «большого человека» ему не удалось.

Гром грянул неожиданно. В фельетоне «Конец притона», напечатанном в молодежной газете и поразовавшем всех старых дев в городе, имя моего бедного певца прозвучало в полную силу. Дома, разумеется, разразился скандал. Ну, это уже неинтересно. Обыкновенный бездарный скандал, с криками, угрозами и слезами, но

он переполнил, как говорится, чашу терпения. Домашняя моя жизнь, институтские похождения, история с Автандилом — все это так мне осточертело, что я решила: буду жить сама, буду жить, как получится, но только сама. Я сдала госэкзамены и целое лето ездила. Сначала в Крым, потом в Карпаты, потом в Ленинград, а осенью приехала сюда и живу вот уже два года, как киплинговская кошка, сама по себе... А что будет завтра? Ты знаешь? Я не знаю...

Рассказывала Вика, будто говоря: «Вот видишь, что со мной было? А кто виноват? Я не знаю. Ты можешь понять все, как хочешь. Можешь осудить меня, но я не буду в обиде. Просто вот так все получилось. Почему? Я не знаю, так же, как не знаю, что будет завтра». Это была ее любимая поговорка: а что будет завтра?

А назавтра, между прочим, был педсовет.

Педсоветы у нас не любили, да и любить их было не за что. Времени они отнимали много, а пользы приносили не больше, чем собрания добровольного пожарного общества, в котором все мы поневоле числились.

Докладывал на педсоветах завуч, потом два-три виновника признавали ошибки и обещали исправиться, то есть повысить успеваемость, и, наконец, выступал директор. Это была самая трудная часть, потому что говорил он очень долго и все правильно. Я бы мог подписаться под каждым его словом и под всем выступлением целиком, но от этого было не легче. Даже часы на стене, отбивавшие каждые пятнадцать минут, не в силах были напомнить ему об ушедшем безвозвратно времени. Директор гово-

рил и говорил, цитируя Ушинского и Макаренко, называя цифры и фамилии, и все сидели, опустив головы в тоскливом ожидании той минуты, когда он произнесет заключительную фразу: «Но наш коллектив имеет все возможности справиться...» — и мы выйдем, очумелые, из жарко натопленной комнаты, с вечно закупоренными форточками, на свежий воздух.

Я был моложе других, у меня не болела голова, и не ждали дома дети, поэтому я старался относиться к педсоветам философски. И заботился об одном — чтобы занять место на диване, потому что на стуле педсовет казался все-таки длиннее.

Повезло мне и на этот раз. Я уселся со всеми удобствами и глянул на Вику, которая по-спартански устроилась на кончике стула. Мне хотелось поймать ее взгляд и улыбнуться ей, но она, как всегда на людях, была чужой и смотрела мимо меня. Я вздохнул и приготовился терпеть в одиночку.

Сначала все шло как по маслу. Тарас Федорович подвел очередные итоги и пересчислил проценты. Проценты были хорошие, хотя могли быть и лучше. Я почти не слушал, потому что мои проценты были совсем хорошие и претензий ждать не приходилось. Я просто смотрел, как он говорил, то и дело прижимая круглый животик к краю большого дубового стола, так что животик вдавливался и поддерживающий его ремень сползал вниз. Заметив это, завуч тут же отступал от стола, подтягивал ремень и выправлял складки на гимнастерке, но через минуту снова бросался вперед, и все повторялось сначала. Наблюдать за ним было забавно, хотя, конечно, надежды на то, что

ремень свалится совсем, не было никакой.

Но вот Тарас Федорович особенно энергично надавил на край стола и, подхватив ремень, вдруг ни с того ни с сего резко повысил голос:

— ...Однако есть у нас такие вещи, о которых нельзя не сказать, и мы скажем о них...

«О чем это он?» — подумал я смутно.

— ...Нельзя не сказать о некоторых наших молодых преподавателях!

Я перевел взгляд с его живота на лицо. Мне всегда представлялось, что Тарас Федорович — человек беззлобный, склонный больше к бурчанию, чем к разносам, и обрушиваться на подчиненных ему нелегко. И сейчас он напомнил мне трусоватого трепача, который поспорил с приятелями, что прыгнет с парашютной вышки. Прыгать страшно, но отказаться стыдно. Теперь уж лучше прыгать поскорее. И Тарас Федорович прыгнул.

— Да-да, я имею в виду Светлану Васильевну. Ей доверили вести предмет в нашем лучшем классе, а она? А в этом классе работает Прасковья Лукьяновна. Ее вся республика знает. И что же? Провал! Вот что мы видим. Да, да, да, полный провал. А почему?

Теперь я смотрел на него во все глаза.

«Неужели по глупости?»

Но тут Тарас Федорович обернулся к директору, и я увидел, как тот поощрительно наклоняет голову.

— Да, да, да, нужно говорить, потому что терпеть такое нельзя. Нельзя ни в коем случае, и мы не будем терпеть!

Я глянул по сторонам и ни в ком не заметил удивления. Кажется, все, кроме меня, ждали этих слов. Ждал и был доволен ими Троиц-

кий, ждала Прасковья, ждала Светлана, теревившая в руках платок, ждал уставившийся на изразцовую печку Андрей Павлович, ждали и другие — одни с сочувствием, другие с любопытством, — и только я ничего не ждал...

Очень далеко от школы прожил я последние недели!

И все-таки я надеялся, что атака завуча захлебнется, грозовой ливень уйдет в песок выступлений штатных ораторов. Получилось, однако, иначе. Ораторов не было. Слово сразу взял Троицкий. Теперь уже сомневаться в том, что педсовет этот особый и что дело не обойдется формальными нотациями, не приходилось.

— Тарас Федорович детально проанализировал наши успехи и недостатки, и я не стану его повторять. Я только дополню и несколько разовью ту часть его выступления, которая прозвучала особенно взволнованно. Я имею в виду печальный и угрожающий срыв, который произошел с нашей молодой преподавательницей Светланой Васильевной.

Он сделал паузу, налил в стакан немного воды из графина, но пить не стал, а только вздохнул:

— В чем же дело, товарищи?

Сказано это было почти скорбно. Если Тарас Федорович старался говорить с пафосом и возмущением, то директор, наоборот, казалось, выполнял печальную необходимость.

— Учитель оценивается по тем знаниям, которые он дал ученикам. Истина эта неопровержима. И все-таки я не хочу сказать, что Светлана Васильевна, не сумевшая передать своих знаний детям, плохой учитель. Я вообще не хочу ругать ее, или, как иногда говорят,



прорабатывать. Я хочу помочь ей разобраться, почему она, знающий педагог, с известным опытом, пришла к таким огорчающим результатам. Произошло самое опасное в нашей работе: Светлана Васильевна утратила контакт с учениками, не может найти общего языка со своим старшим товарищем, Прасковьей Лукьяновной, которая разделяет с ней ответственность за положение в классе, неправильно понимает наше с Тарасом Федоровичем стремление помочь ей и, вообще, я бы сказал, поставила себя особняком в коллективе...

Случай, товарищи, прискорбный и необычный для нашей школы. У каждого из нас встречаются трудности, но мы умеем сообща, помогая друг другу, преодолевать их. Но что делать, если человек не хочет помощи? Больше того, враждебно встречает все попытки помочь ему? Что делать в таком случае? Давайте разберемся все вместе, товарищи!

Да, Троицкий не был похож на своего заместителя. Он не прыгал вокруг стола и не размахивал руками. Он говорил то, что хотел сказать, говорил неторопливо, уверенно, с настойчивостью гипнотизера, властно усыпляющего волю слушателей.

— Давайте же разберемся, товарищи. Все мы помним, как в этой самой комнате о Светлане Васильевне говорилось немало заслуженно хороших слов. И нелегко мне сегодня говорить здесь другие слова... Быть руководителем — не привилегия. Это большая ответственность, и я хочу разделить ее сегодня с вами. Давайте вместе решим, кто прав в этом конфликте. Потому что речь идет именно о конфликте между одной преподавательницей и

всем остальным коллективом. Так кто же идет в ногу — рота или поручик? Я думаю, двух мнений в данном случае быть не может. И если Светлана Васильевна придерживается иного мнения, то это только означает, что она еще не созрела для работы в нашей школе. Не понимает, что это большая честь — работать в таком коллективе, как наш. Верно я говорю, Николай Николаевич? — обратился он к инспектору.

— Целиком и полностью согласен с вами, Борис Матвеевич. Я еще выскажусь по всем поднятым вопросам, — немедленно откликнулся тот и прижал зачем-то блокнот к носу.

«Здорово! — отметил я. — Пожалуйста, смотрите сами, жаловаться некому!»

Но Троцкий еще не исчерпал своего арсенала.

— И скажу откровенно, товарищи, не пойму я... — Тут он заговорил совсем тихо, якобы в раздумье: — Не пойму я, откуда у нашего молодого человека, выпускницы советского вуза, педагога советской школы, такой нехороший индивидуалистический душок, пренебрежение к мнению старших, неуважительное отношение к товарищам, формальный, без души, подход к детям: вижу ошибку — ставлю двойку? Откуда это?

Это уже был удар ниже пояса! Но я еще не знал, какой это был рассчитанный и больной удар.

После речи директора сделали перерыв. Почти все вышли — кто покурить, кто просто размяться от долгого сидения, а некоторые, наверно, для того, чтобы не оставаться со Светланой. Она казалась спокойной и листала ка-

кую-то книжку, но я был уверен, что Светлана не видела в ней ни строчки. Андрей Павлович тоже не вышел, он закурил возле печки. А я ходил один по длинному коридору, стараясь найти нужные слова для выступления, но волновался и никак не мог придумать ничего понастоящему толкового.

Прения открыла Прасковья.

— Здесь наш директор говорил обстоятельно и умно. А я скажу покороче и попроще. Скажу так. Светлана Васильевна под стол пещи ходила, когда я уже детей грамоте учила. И я детей своих в обиду не дам! Так-то! Нема такой теории, что дети дураки бывают! Это там, — она махнула рукой на стенку, — там Ломборзо всякие навывдумывали врожденные типы, а у нас говорят: вот тебе ребенок и, будь ласка, его научи! А не можешь научить — не гневайся! Значит, не учитель ты, хоть десять дипломов маешь. Не учитель, и все! Я так понимаю, и правильно понимаю. Звоняй, голубушка, або що не так казала, а правду тебе слушать нужно, ой як треба!

Она села, достала из сумки папиросу и грозно чиркнула спичкой.

Потом выступил наш географ, человек печальный, которого бросила уже третья жена и который рассказывал об этом всем охотно, длинно и скучно. Всякого новенького он старался затащить в свою холодную и неприбранную холостяцкую комнату, чтобы излить наболевшую душу.

Я тоже не избежал общей участи и часа два терпеливо слушал, что теперь уж за него никто не пойдет, потому что он платит большие алименты, а «бабы, они только грошами

и интересуются. Им разве человек нужен?»

Светлану он ругал нудно и бесцветно, так же нудно, как поносил бывших жен, и так же бесцветно, как умудрялся рассказывать ученикам о тропических островах и полярных сияниях. Я дослушал его с трудом и приподнял руку.

— Разрешите мне...

Конечно же, мое выступление не предполагалось. Троицкий внимательно посмотрел на меня поверх очков, помедлил, будто предостерегая от ошибки, однако слово дал.

— Послушаем, что думает наш молодой коллега.

Я поднялся.

— Вы же прекрасно знаете, Борис Матвеевич, — заговорил я торопливо, — что такое русский язык и как трудно изучить его в девятом классе, если не учили как следует раньше. Светлана Васильевна всю душу вкладывает в свою работу, переживает страшно, а ей вместо настоящей помощи устроили сегодня проработку, хоть вы и говорили, что не хотите прорабатывать.

Разумеется, это была попытка, обреченная на провал. Слишком неравны были силы. Авторитет Троицкого все еще довлел надо мной, и я не мог решиться обвинить его в главном — в том, что он заставляет Светлану завышать оценки. Но и не упомянуть об этом я тоже не мог.

— В какое же положение мы ставим Светлану Васильевну? Что ей остается делать? Ставить тройку вместо двойки?

Горячность, однако, плохое оружие против софистики. От волнения я путался, забывал

что-то важное, повторял второстепенное и, когда садился, понимал уже, что бомбил ложный объект, в лучшем случае — какую-то незначительную позицию. Пожалуй, единственно ясным в этом сумбурном выступлении было то, что я не согласен с директором. Насколько это чревато последствиями, я не думал. Я выступал потому, что считал своим долгом выступить. И хотя почувствовал сразу, что выпалил вхолостую, поражения своего еще не видел. Я был уверен, что бой только начинается. Особенно надеялся я на Андрея Павловича.

Но Ступак слова не просил. И вообще никто не просил. Получилась заминка. Тарас Федорович с надеждой заглядывал в глаза сидящим. Те старались глаза отвести.

Выручил его инспектор. Он вытащил из железного футляра пенсне и приладил на носу. Потом заговорил быстро, время от времени заглядывая в блокнот, о том, что школу нашу знают и ценят и что знают и ценят таких известных и выдающихся педагогов, как Троицкий и Прасковья, и поэтому поддержат их «всем весом районного авторитета». И они очень рады, что у нас сплоченный коллектив. И они никогда не потерпят, чтобы в таком коллективе отдельные лица выступали с «демагогическими утверждениями». При этом он посмотрел на меня с необходимой суровостью, но, видно, усомнился в силе своего взгляда и пояснил:

— Я вас имею в виду, товарищ... (взгляд в блокнот) Крылов. Да, именно вас. Потому что ваше выступление прозвучало диссонансом к мнению коллектива.

Оно действительно прозвучало диссонансом.

Меня не поддержал никто. Даже Светлана не выступила. И когда Тарас Федорович дал директору заключительное слово, я еще не понимал, что все уже кончено.

Троицкий сказал:

— Я думаю, что сегодняшней педагогический совет принесет определенную пользу. Мнение товарищей выражено ясно, и я надеюсь, что Светлана Васильевна извлечет необходимый урок. Так ведь, Светлана Васильевна? Надеюсь, вы понимаете, что мы ждем от вас не очковтирательства, а самоотверженной трудовой отдачи.

— Да, Борис Матвеевич,— ответила она незнакомым мне, каким-то машинным голосом.

Я не верил своим ушам.

— Что касается другого нашего молодого товарища, Николая Сергеевича, то его эмоциональность мне вполне понятна. Она идет от добрых чувств. Но часто такие чувства нас подводят, мешают правильно видеть факты. Этого Николай Сергеевич не знает в силу своего возраста. А мы знаем и всё ему объясним, поможем...

Учительский труд не прост, Николай Сергеевич. Легких путей у нас не бывает, и не за процент успеваемости мы боремся, а за прочные и глубокие знания, которые обязан давать учащимся каждый педагог. В том числе и Светлана Васильевна,— подчеркнул директор.— Вот так, товарищи. Полагаю, на сегодня достаточно.

□

Педсовет закончился почти в половине одиннадцатого. Это был четверг, «наш» с Викой

день: по пятницам ни у нее, ни у меня не было первых уроков, и мы могли быть вместе почти до утра. Но вышел я из школы один, и не только по соображениям «конспирации». Хотелось побыть немного наедине с этим мокрым городом, к которому я постепенно привыкал и который уже начал воспринимать не как случайное скопление домов между двумя речками, а как нечто серьезное, живое, ставшее важной частью моей жизни.

Он загадывал много загадок, этот хмурый Дождь-городок, и где же мне было еще разгадывать их, как не на его пустых, скользких улицах? Впрочем, в тот вечер загадки сменяли одна другую, и я так ничего и не разгадал. Почему сдались Ступаки? Легче всего было обвинить их в трусости и разочароваться в недавних друзьях. Но я чувствовал, что такая разгадка окажется слишком простой. Во всяком случае, они не оба трусили. Не хочет конфликта Андрей. Не хочет и давит на Светлану. Злиться на него одного мне было легче. Оттого что он смолчал, я казался себе значительнее и благороднее. Я даже представил, как будет благодарить меня Светлана. Но, поймав себя на такой тщеславной глупости, я лишний раз понял, что запутался окончательно, и, махнув на все рукой, направился к Вике.

Как всегда, я отворил незапертую дверь и привычно в темноте запер ее за собой. Вика лежала в постели с книгой в руках.

— Тебя никто не видел? — спросила она как-то рассеянно, думая о другом.

— Никто.

Я присел на кровать и взял книгу у нее из рук. Это была «Шагреновая кожа» Бальзака.

— По-моему, Бальзак скучный писатель, Не пойму, за что его женщины любят,

— Он хорошо знал людей.

— Представляю, как бы он описал наш педсовет...

— Я как раз думала об этом.

— Что написал бы Бальзак?

— Нет, о твоём выступлении.

— И, конечно, связала его со своей универсальной формулой — «тебе Светка нравится»?

— А почему бы и нет? Разве я не баба?

— Ну, во-первых, ты умная баба, а во-вторых, уж не тебе-то к ней ревновать.

— Ты сказал сразу две глупости, Коля. Отвечаю в порядке поступления. Во-первых, и умная баба — все-таки баба. Этого уж у нас не отнимешь. А во-вторых, почему бы мне и не ревновать? Потому что сегодня ночью ты будешь спать в моей кровати? Милый мой мальчик, жизнь слишком сложно устроена, чтобы измерять ее такими простыми категориями. Кстати, ты меня совсем не ревнуешь?

— К кому?

— К кому! Конечно, не ревнуешь! Вообще это смешно, но я тебя все-таки люблю немножко больше, чем ты меня. И сегодня я думала не о Светке. Пусть она тебе нравится. Что я могу поделать? Я думала о тебе. Если ты всегда будешь такой, как сегодня, тебе придется в жизни трудно, очень трудно.

— Что значит «такой» — глупый или честный?

Так уж устроен человек: стоило ей задеть меня, и я готов был отстаивать выступление, которое сам считал неудачным,



— Пусть будет... честный.

— А каким же я должен быть?

Вика откинула одеяло и села на кровати, положив подбородок на колени, прикрытые длинной ночной рубашкой.

— Не знаю, Коленька, не знаю, не знаю. Не выношу хрякиных и троицких, а сказать «воюй с ними» не могу. Ведь они тебя топтать начнут.

— Так уж и топтать!

— Разве Светку не топчут?

— Потому что вы все им помогаете!

— Ты обиделся и на меня?

— Нет, я знал, что ты не станешь выступать.

— Откуда ты знал?

— Знал.

— Ты так хорошо меня знаешь? А можно узнать, что ты знаешь? И вообще, что ты обо мне думаешь? Может быть, ты меня за последнюю дрянь считаешь? Так зачем ты ходишь ко мне? Или ты в этой комнате свои принципы вместе со штанами на спинку стула вешаешь?

— Вика?

— Что — Вика?

— Это несправедливо.

— А я не знаю, что справедливо, а что нет! И ты не знаешь. Ты хотел сегодня быть честным. Ну и что? Чего ты добился? Только одного: раньше щелкали Светку, а теперь и тебе перепадет. Вот и все! И не утешайся тем, что тебя подвел Андрей, или я, или еще кто-нибудь. И не обвиняй нас и не срывай на нас злость.

— Но ведь вы могли поддержать меня? —

спросил я тихо, без запальчивости, и этот тон подействовал на нее. Вика тоже успокоилась.

— Я просто не верю, что могу помочь Светлане или тебе. Я знаю, ты не согласишься со мной, но мне все чаще кажется, что мы глубоко заблуждаемся, когда считаем себя хозяевами своих поступков, когда думаем, что от нас что-то зависит. Мы просто выдумываем себя, а на самом деле, как марионетки на веревочке, всего лишь выполняем написанные уже роли. Не знаю кем. Может быть, тем мальчиком... Но как только мы начинаем дергаться не туда, нас выбрасывают, как сломавшуюся игрушку. И тебя выбросят. Правда, пока тебе не страшно. Чем ты рискуешь в этой дыре? Уедешь — и все. Но если ты всегда будешь таким, как сейчас, тогда я не знаю...

— Я тоже не знаю, каким я буду, но твоя теория мне не подходит. Сегодня я себя сам дергал за веревочку. Да и ты свою сама придерживала.

— Если хочешь знать, придерживать было умнее.

— Да я не осуждаю тебя...

— А я не оправдываюсь. Ты только должен знать: если бы мы подняли вокруг Светланы слишком много шума, это могло ей повредить.

— Послушай, Вика, ты уже второй раз намекаешь...

— Ни на что я не намекаю. Просто Андрей — человек легкоуязвимый. Он был в плену.

— В плену?

— Да, в плену!

— Ну и что из этого?

— А ты разве не слышал, «откуда такой нехороший душок»?

— Значит, он себя скомпрометировал?

— «Скомпрометировал»! Он два раза бежал, воевал в партизанском отряде во Франции и даже орденом награжден.

— И Троицкому этого мало?

— Вполне достаточно, чтобы всегда заткнуть рот и Ступаку и его жене.

— Да что же он ему может сделать?

— Сказать про «нехороший душок».

— Ну и пусть говорит. Вернее, кто ему дал право так говорить?

— Ты все-таки очень наивный, Коля.

— Ты думаешь, что у Ступака могут быть неприятности?

— У него их было уже так много, что он не хочет новых. В конце концов у них ребенок.

— Да... Теперь понятнее. Хотя и не верится до конца. Ну, подумай, разве не нелепо все это? Директор, знающий, опытный педагог, Тарас Федорович, наверно, совсем не злой человек, Прасковья вздорная, но искренняя грубиянка — все они давят на учителя, который хочет только одного: быть честным в своей работе, толкают его на обман, а когда этот учитель не может обманывать, набрасываются на него и рвут ему нервы! И из-за чего? Из-за каких-то ничтожных процентов, из-за того, чтобы в областном списке наша школа стояла на пару строчек выше!.. Не понимаю!

— Тебе мешают красивые слова, которых ты понаслушался в университете.

— Я повторяю эти слова ученикам. И верю, что это правильные слова.

— Только подлецы повторяют их не реже,

чем ты. И им они приносят больше пользы.

— Нет, мне они пользы приносят больше, потому что я верю в них. А если не верить в лучшее, то во что же тогда верить?

— Я верю в себя, Коля. Потому что я знаю: это единственный человек, который не сделает мне больно. Остальных я боюсь.

— И меня боишься?

— Сейчас нет. Но не обольщайся. Каждому положено на роду сделать больно ближнему. Будь уверен, придет и твоя очередь.

— Кое-кому я бы сделал это с удовольствием.

— Я о другом... Может быть, придется ранить того, кого любишь. Кто знает.

— Да ты ничего не знаешь. Ты повторяешь это достаточно часто, и я уже уяснил это.

— Нет, кое-что я все-таки знаю. Сказать?

— Скажи.

— Я знаю, что сегодня мы напрасно прекаемся. И когда-нибудь тебе будет досадно, что ты целый час обсуждал со мной мировые проблемы. — Она наклонилась ко мне: — Коленька, мальчик, может быть, ты завтра решишь все эти вопросы? Ведь их так много...

В эту ночь Вика была со мной особенно нежной, как будто хотела, чтобы я раз и навсегда забыл обо всех неприятностях. Я пробыл у нее дольше, чем обычно. Где-то в конце ночи, когда за окном, прочищая заспанные глотки, хрипло заорали петухи, она спросила:

— Хочешь пить? У хозяйки есть взвар холодный-холодный, кисло-сладкий.

И, соскочив с постели, босиком побежала к буфету за чашкой.

Я закрыл глаза, чувствуя, как приятная усталость добирается до каждой клетки. Сон боролся со мной, но не тяжело, а как бы в шутку, то набегая, то снова уходя. Это была коварная игра, и он подстерег меня. Я не смог открыть глаза.

Не знаю, на сколько минут я забылся, а когда проснулся, то увидел Вику, сидевшую на кровати с будильником в руках.

— Можешь спать еще целых семь минут!

Я посмотрел на стрелки и вздохнул:

— Где же твой компот?

— Вот он. Только это не компот, а взвар. Это совсем разные вещи, две большие разницы, говоря по-одесски.

Я хлебнул из чашки. Взвар был хорошим.

— Когда ты уходишь, я чувствую себя преступницей. Это так несправедливо: я могу дрыхнуть, валяться в постели, а тебе идти холодной ночью...

Слова эти тронули меня. Я наклонился и поцеловал руку, в которой она держала пустую чашку.

□

В школу я пришел за десять минут до звонка и тут же попал в засаду. Меня поджидал Тарас Федорович.

— Почему вы так поздно?

— У меня третий урок.

— Ну и что из этого?

— Я же не опоздал...

— Еще чего не хватало — на уроки опаздывать! А кроме уроков у вас нет других обязанностей?

К такому тону с его стороны я не привык и, не зная, что ответить, пожал плечами.

— В школу ходят, между прочим, не только на уроки. Это профессор отчитал лекцию — и домой, а учитель работает круглые сутки.

— Что случилось, Тарас Федорович?

— Это вы должны сообщать мне, что случается с вашими учениками, а не я вам. Бандура в вашем классе учится?

— Да, в моем.

Я мог бы добавить «к сожалению», потому что не любил этого ученика, хотя он очень редко нарушал дисциплину и учился почти на четыре. Бандура был из тех осторожных мальчиков, которые делают гадости исподтишка, и делают их с почти наивной улыбкой на розовощеком лице. Широко открытыми, не ведающими смущения глазами смотрел он и в тетрадку соседа во время контрольной, и под юбки девочек, моющих окна в классе. Этими же глазами смотрел он всегда и на меня; мне становилось неловко, и я отводил свой взгляд.

— Да, Бандура учится в моем классе...

— А вы бывали у него дома?

Нет, я не был у него дома. Кажется, он единственный «неохваченный», но я просто не представлял себе, о чем буду говорить с его родителями. Не мог же я сказать, что мне не нравятся его глаза и что я хочу, чтобы их сын почаще моргал. Не мог всего этого я объяснить и Тарасу Федоровичу.

— Нет, не был.

— Почему?

— Не успел еще.

— Вот и расхлебывайте!

А расхлебывать нужно было вот что. Банду-

ру привел в школу солдат. Мой питомец стоял с приятелями возле кино и говорил гадости проходящим девушкам. Именно говорил. Не кричал какие-нибудь циничные глупости, как пьяный хулиган, а говорил негромко и отчетливо, глядя на них своими немигающими глазами и улыбаясь. Я представил себе это совершенно отчетливо и без труда. Наверно, он испытывал своеобразное наслаждение от этих упражнений. Солдат, здоровый парень, призывник из пединститута, сгреб Бандуру за шиворот и отвел к завучу.

Теперь пришла очередь действовать мне...

Жил Бандура далеко, и, чтобы сократить путь, я пошел не через город, а железнодорожной веткой, так было и суше. Натянув на лоб шапку, потому что ветер дул в лицо, я зашагал по шпалам мимо станции туда, где над мокрыми крышами тревожно светился красный глаз светофора. Светофор этот возвышался на краю очистившегося от туч неба, наполненного мягкими закатными красками. Разноцветные их полосы, переходящие одна в другую, от темно-бордовой до чистой зеленой, медленно гасли под самым краем слоистой тучи, и чем тусклее они становились, тем ярче разгорался огонек светофора, как будто далекая звезда, сбившись с проторенного пути, спешила заглянуть в приоткрывшееся над Дождь-городком окошко.

Дом Бандуры оказался за светофором. Когда я подошел к нему, было уже совсем темно. Я постучал в закрытую ставню, через которую пробивалась полоска света.

— Кто там? — спросил мужской голос.

— Учитель, из школы... насчет Аркадия.

Внутри как будто подумали, открывать или не открывать, потом открыли. Открыл человек лет сорока пяти в овчинной безрукавке, наде-той прямо на голубую нижнюю рубаху. Это был, конечно, Бандура-старший, хотя глаза у него оказались совсем другие, чем у сына,— маленькие и присматривающиеся. Он стоял и рассматривал меня ими, ничего не говоря и не двигаясь с места.

Я глянул на вешалку.

— Здесь можно раздеться?

— Раздевайтесь.

Не скажу, чтобы голос его прозвучал госте-приимно, но я все-таки снял пальто и вытер ноги о половичок.

— Где же мы поговорим?

Бандура-старший отворил дверь в комнату.

Про такие комнаты хозяева любят говорить: «У нас все как у людей», подразумевая, что у них лучше. Да и вообще, весь дом — это я заметил сразу — был крепче, добротнее, чем «у людей». Не скрипели поблескивающие све-жей краской полы, не выпирали буграми глад-ко оштукатуренные стены, и в окнах, между двойниками, стояли не дешевые граненые стоп-ки, а тонконогие рюмочки, мелкая чистая соль в которых была насыпана ровно, под золотой ободок. Рюмочки эти мне почему-то особенно запомнились. И еще запомнился большой доро-гой радиоприемник. Он стоял в том углу, где держат иконы, и был накрыт вышитой накид-кой. А икон не было совсем. Мне даже стран-ным показался этот пустой, чисто выбеленный угол: я уже привык в Дождь-городке к темным



божьим ликам, окаймленным цветастыми украинскими рушниками.

Ну и хозяйева запомнились, само собой... Они были в комплекте, то есть и отец, и мать, и сын. И все трое смотрели на меня и ждали: отец за столом, широко раскинув локти по вышитой скатерти; мать в дверях, прислонившись плечом к косяку, как вратарь к штанге, а сын в углу, на стуле, с любопытством ожидая начала представления.

— Я бы хотел поговорить о поведении вашего сына, — начал я и остановился в надежде, что отец отправит чадо из комнаты. Но он не пошевелился. «Ну что ж, пусть послушает!» Я начинал злиться. — Аркадий совершил очень нехороший поступок, — продолжил я по возможности сдержанно, хотя мне хотелось сказать просто: «Сволочь ваш Аркадий». — Дело в том...

— В чем дело, уважаемый товарищ учитель, нам известно, — прервал меня отец.

— От Аркадия? — не удержался я, и напрасно, потому что сейчас же получил ответный удар.

— А мы ему верим. Он нам не брешет.

Я отступил:

— Это хорошо. Значит, вы все знаете, и мне можно вам не рассказывать...

— Значит, можно не рассказывать.

Я почувствовал, что теряюсь, но постарался взять себя в руки.

— Какое же у вас мнение обо всем случившемся?

— У нас есть свое мнение, товарищ учитель.

— Вот и выскажите его, пожалуйста!

Я уже понимал, что говорю слова, которыми людей этих не проймешь, но других слов я не знал, да и не позволено было мне говорить другими словами.

— У нас не мнение, товарищ учитель, у нас вопрос.

— Ко мне?

— И до вас тоже.

— Я слушаю вас.

— Тогда скажите, будь ласка, где в наших советских законах записано, что солдатам разрешается бить детей?

Я повернулся к Аркадию и тут только заметил, что нижняя губа у него припухла. Не сильно, правда, нокаутом и не пахло, но хороший шлепок передал ему несомненно. Об этом скотина Тарас мне ничего не сказал! Положение осложнилось, и все-таки я не мог не порадоваться, глядя на припухшую губу. «Молодчина, солдат, прости ради бога, что мне придется осудить тебя! Я ведь всего-навсего школьный учитель, мне нельзя допускать ничего непедagogичного». Но зато я мог улыбнуться. И я улыбнулся, рассматривая эту губу, улыбнулся в открытую, чтоб они знали, как я отношусь к их ненаглядному отпрыску. А потом уже можно было осудить и солдата.

— Конечно, солдат не прав. Но ведь то, что делал ваш сын, очень скверно. Это гораздо хуже, чем списать задачу или покурить тайком...

— За курево я ему шкуру спущу.

— А оскорбить, унижить человека...

Ох уж эти книжные слова! Не они тут были нужны, не они. И я убеждался в этом сразу же, едва успевал закрыть рот.

На этот раз подача шла от матери.

— Не развалятся потаскухи эти. Знаем мы, кто там, в городе, асфальт протирает.

Нет, не мне было перевоспитывать это семейство!

— Жаль, что вы так думаете...

— А нам думать печего. Мы знаем... Извините, молодой человек, сколько вам лет, поинтересоваться можно? — спросил отец едко.

— Возраст мой не секрет, конечно, но к нашему разговору он не относится.

— Напрасно так полагаете. Чтоб молодежь учить, нужно иметь богато жизненного опыту, товарищ педагог. Разбираться нужно уметь, что за ученик, как он воспитан.

Мать перебила его:

— Да вы хоть соседей спросите, каждый скажет, что за сын у нас! А его какой-то солдат по лицу кулаком! Нет уж, мы этого так не оставим! Мы к его командиру пойдем.

Продолжать дискуссию было бесполезно.

— Я не собираюсь оправдывать солдата, но и вы Аркадия зря так защищаете.

— А уж это нам лучше знать, молодой человек. И не с тем разговором вы до нас пришли. Солдат бил, да чтоб еще и родной батько всыпал!

— Никто не предлагает вам бить Аркадия. Думаю, что ему это не угрожает.

— Можете быть уверены.

— Не сомневаюсь.

Я встал.

Но им было мало победы, им нужна была капитуляция.

— Значит, вы, товарищ учитель, насчет солдата поняли?

— Да, солдата понять можно.

Я не мог не сказать этого, потому что это было самое малое из того, что я хотел сказать.

Бандура-старший скривился:

— Это вас в институте так учили или вы собственным понятием уразумели?

— Собственным понятием...

— Ну, а у нас, товарищ дорогой, другие понятия. Так что мы лучше об этом деле с директором побалакаем.

— Могу вас заверить, он скажет вам то же самое, что и я.

— А может, что и другое.

На прощание Бандура-сынчик вполне почти-тельно подал мне шапку. Ведь он все-таки оставался в моем классе.

Обратно я шагал, не попадая на шпалы и не замечая под ногами щебенки. Сто раз я слышал о воюющих с «несправедливыми» учителями родителях, и они всегда представлялись мне юмористическими, опереточными персонажами. Вот тебе и оперетта!

На станции попыхивали белым паром локомотивы. У перрона стоял пассажирский поезд, и люди, накинув на плечи пальто и платки, бегали в открытые двери ресторанного буфета.

Вокзальный динамик ревел голосом, вовсе не похожим на голос Шульженко:

О любви не говори,

О ней все сказано...

Потом голос переходил в хрип, а из хрипа уже появлялась последняя строчка:

... а молчать не в силах — пой!

Наверно, мне следовало спеть... Но пришлось не петь, а докладывать директору. Та-

рас почувствовал, что история не закончилась, и сбыл меня с рук.

— Расскажите обо всем Борису Матвеевичу.

Вот я и рассказывал.

Это был первый наш разговор после педсовета, но я не вспоминал о педсовете. «Каким бы ни был Троицкий, — думал я, — он прежде всего учитель, проработавший в школе не один десяток лет, а значит, человек, который должен понять и поддержать меня хотя бы из корпоративной солидарности. Ведь речь шла о чести школы».

Директор выслушал меня внимательно, время от времени пожевывая тонкими губами и постукивая пальцами по ручкам своего завитушчатого кресла времен коронных гетманов. Когда я кончил, он сочувственно развел руками. Слегка, не театрально, а сдержанно, так, как и нужно было.

— Педагогический труд, Николай Сергеевич, это не широкая столбовая дорога. Шипов нам достается больше, чем роз. С людьми имеем дело, а люди — самый сложный из механизмов. Поэтому главное в нашей работе — больше самокритики, меньше самоуверенности.

— Вы считаете, что это правило относится и к данному случаю?

— Относится самым прямым образом. Немножко дров вы накололи, Николай Сергеевич... Немножко...

— Я наколол?

— Вы, конечно, вы. Я-то вас понимаю и верю всему, что вы рассказали. Но ведь мо-

жет быть и другая точка зрения. Вы сами говорите, губа-то вспухла. Солдат ваш несомненно погорячился.

— Правильно сделал!

— Почему правильно? Кажется, в случае с Еремеевым вы не одобряли кулачной расправы? Драться вообще скверно, к тому же, как все произошло, вы не знаете, даже с самим солдатом не говорили.

— Зато я знаю Бандуру.

— Что же вы о нем знаете плохого? Учится он вполне прилично, играет в самодеятельности на аккордеоне, столкновений у вас с ним не было...

— Я ему в глаза смотрел.

Троицкий улыбнулся снисходительно:

— Эх, молодость, молодость... «В глаза смотрел!» — Он вышел из-за стола и положил мне руку на плечо: — А Светлане Васильевне вы тоже в глаза смотрели? — И тут же глянул на часы: — У вас, кажется, сейчас урок? Вот и пойдемте вместе. У меня как раз свободный час.

Раньше он всегда предупреждал заранее, когда собирался на урок, но, в конце концов, это право директора. Да и чего было бояться? Материал я знал, а дисциплина при начальстве только лучше бывает. По пути в учительскую я думал не об этой неожиданной проверке. Я вспомнил слова Троицкого о Светлане. Что он, собственно, хотел сказать? Просто к слову пришлось или со смыслом? Да нет, какой там может быть смысл! И вспомнил: «Светка тебе нравится». Неужели в моем отношении к Светлане есть что-то заметное, необычное? Ну, Вика — женщина, Вика — другое дело. А Тро-

ицкий? Неужели намекал? Нет, это уж слишком! Не может быть...

Я потянул из шкафчика журнал, но ошибся.

— Это мой, Николай Сергеевич...

Говорила Светлана.

— Простите.

Я отдал ей журнал. Звонок уже отзвенел, и мы были последними в учительской.

— Почему вы не зайдете? Я так ждала вас после педсовета... И Андрей тоже...

— Спасибо. Приду обязательно, сегодня приду...

Коридор тоже был пуст. Только Троицкий стоял у дверей моего класса.

Урок, по-моему, прошел неплохо, во всяком случае не хуже, чем те, на которых бывали раньше директор и Тарас. Но Троицкий сидел, как сфинкс, и по выражению лица невозможно было судить о его впечатлении. Впрочем, меня не так уже занимало, что он думает об уроке. «Намекал или не намекал? — вот что крутилось у меня в голове. — Нет, конечно, нет. Просто старческая болтовня. Иначе это было бы слишком грязно».

— Что ж, Николай Сергеевич, может быть, сразу поговорим, так сказать, по горячим следам?

Я вспомнил его первое посещение. Я дрожал тогда, как осиновый лист, а Троицкий спокойно распрощался со мной после урока и промаршировал до следующего дня. Зато на другой день похвалил, сказал: «С большим удовольствием посетил ваш урок. Вижу, что смена нам, старикам, идет достойная». С тех пор прошла целая четверть. Кое-что я успел и при-

обрести за это время. Что же он скажет мне теперь?

— Я не впервые присутствую на ваших уроках, Николай Сергеевич, и, думаю, пришло время говорить с вами без скидок, со всей требовательностью, не как с новичком, а как с полноправным членом нашего педагогического коллектива.

Вступление было многозначительным.

— Вы помните, конечно, я не раз подчеркивал: из вас может выйти настоящий высококвалифицированный преподаватель. Этому мнения я придерживаюсь и сейчас. Может выйти. Но пока... Впрочем, лучше конкретно поговорить по уроку. Я здесь сделал ряд заметок.

Он развернул тетрадку, в которой делал записи.

— Первое замечание: на урок вы опоздали...

Всех замечаний оказалось тринадцать. Все-таки не зря люди побаиваются этого числа. Не повышая голоса, разобрал Троицкий каждый мой шаг и каждое слово на уроке с той минуты, как я переступил порог класса, и до звонка, и почти каждый шаг оказался неверным. Вопрос был проведен слишком бегло, объяснение затянулось, главное утонуло во второстепенном, я не заметил, что Комарницкий решал задачу по физике, а Новицкая заглядывала в учебник, и так далее и так далее, вплоть до того, что я слишком часто прислонялся к подоконнику («У вас, кстати, вообще пристрастие к этому подоконнику!»), что весьма непедагогично.

Напоследок директор сказал:

— И еще мне не понравилось, Николай



Сергеевич, что вы мало волновались. Да-да, мало, а учительская работа немислима без волнения. Правда, от него сердце изнашивается, — Троицкий приложил руку к пиджаку, — но уж это издержки нашей профессии. Без них не обойтись. И вам придется еще много-много поволноваться. Так что не обижайтесь на меня, старика. У меня у самого двое таких, как вы. Сын в Москве, в аспирантуре учится, дочка в Одессе. Разбрелись по белому свету. Мы с женой вдвоем остались. А ваша матушка тоже одна?

— Одна.

— Это плохо. Между нами говоря, много у нас еще бюрократизма в распределении молодых специалистов. Если уж посылают, так за тысячу верст. Трудно ей без вас, наверно, трудно...

□

Когда дома я перебрал в голове все, о чем мы говорили, то зашел в полный тупик. Сделать вывод, что после педсовета Троицкий объявил мне войну, несправедливо разобрал мой урок, намекнул на что-то нечистое в моем отношении к Светлане и даже косвенно предложил мне уехать, казалось слишком неправдоподобным. Получалось вроде газетного фельетона о преследовании за критику. И я честно старался понять Троицкого, удерживая себя от обид и предвзятости. Что, собственно, он говорил мне? Что зазнаваться рано? Это была стопроцентная правда. Даже то, что сидеть на подоконнике непедагогично, я не мог опровергнуть. А мама сама писала в каждом письме,

что ей трудно без меня... Но когда мне начало казаться, что я несправедлив к старику, я вспоминал Светлану, и все сомнения возникали снова.

За ужином хозяйка сказала, подкладывая в мою тарелку жареную картошку:

— Кушать вам нужно побольше, Николай Сергеевич.

Я так и не сумел убедить ее называть меня просто по имени.

— Почему больше?

— Похудели вы что-то...

Я подумал, что она хочет пошутить насчет моих ночных отлучек, но Евдокия Ивановна была настроена серьезно.

— Трудная у вас работа. Всё заботы да заботы...

Она говорила «важка праця» и «турботы», и мне было приятно слушать мягкие украинские слова, и я был рад, что понимаю их.

— Эти ж диты ну просто скаженны...

— И дети и родители, — вспомнил я Бандуру.

— А то нет! Чи среди старых дурней нема?

— Евдокия Ивановна, вы Бандуру знаете?

— Это что проводниками керует?

— Да, бригадир.

— А як же не знать!

— Вот я вчера у него был и поругался там.

Я коротко рассказал о своем визите.

— И за того ворюгу вы горюете, Микола Сергеевич?

— Почему ворюгу?

— Та его ж уси люди знают, шо вин жулик и спекулянт. Где дешевле купить, где дороже продать. Плюньте вы на него.

Мне стало легче.

— Жалко, Евдокия Ивановна, что не вы у нас директор.

— Директором мне нельзя. Там треба человек ученый.

Меня разобрало искушение.

— А Троицкий здешний, Евдокия Ивановна?

— Я ще его дида помню.

— И дед был ученый?

— Дид у него поп был. По старому времени — большой человек.

— Значит, наш директор из священников?

— Попович...

— А про него что люди говорят?

— Политычна людына, кажуть.

Я рассмеялся.

— Как же это по-русски будет?

— А на российском говорят: палец в рот не клади.

— Спасибо, Евдокия Ивановна, — сказал я, отодвигая пустую тарелку...

Путь к Ступакам был из моих постоянных, освоенных маршрутов. На половине пути я встретил автобус. Он появился в дальнем конце улицы, и я сразу узнал его по трем разноцветным огонькам — красному, зеленому и фиолетовому. Это был рейсовый автобус, длинный, с зеркальными окнами, за которыми дремали в мягких креслах незнакомые, не подозревающие о моем существовании люди. Я проводил взглядом этого «летучего голландца», пришельца из иного мира, и на мгновение позабывал его пассажирам.

Светлану я застал одну.

— Андрей кружок ведет. Наверно, вот-вот будет. Давно уже ушел.

— А сын?

— Вовка с бабушкой у тетки.

Она развела руками, будто извиняясь за то, что мне будет скучно с ней. Но я думал иначе, хотя и не знал, как повести себя. Мы никогда еще не оставались наедине. Я сел, как всегда сидел у них, поставив стул спинкой вперед и обхватив спинку руками, и произнес нарочито бодрым тоном:

— Ну как, изживаете ошибки?

Прозвучало неуместно. Вместо ответа Светлана спросила:

— Знаете, Николай Сергеевич, чем я сейчас занималась? Ни за что не догадаетесь!

Я пожал плечами:

— Откуда ж я могу догадаться!

— Губы красила.

На столе действительно стояло зеркало и трубочка с помадой.

— Разве это такое событие?

— Еще бы! Для меня... Я ведь никогда не красила. В университете считалось неприличным. Ну, а учительнице и бог не велел.

— Почему не велел? Некоторые красят.

Я подумал о Вике, всегда подкрашивающей губы.

— У нас одна Виктория Дмитриевна. Да она-то вольная птица: завтра выйдет за своего майора и — до свиданья, школа. А уж мне-то в учительшах век вековать.

Последние слова она сказала как будто шутиливо, но шутки не получилось.

— Трудная эта жизнь, Николай Сергеевич. Вот и хочется иногда губы подкрасить.

Светлана взяла трубочку и, искоса поглядывая в зеркало, провела помадой по губам.

— Идет мне, а?

— Идет.

Я не врал. Усталость сразу сошла с лица Светланы.

Она тряхнула своими короткими соломенными волосами.

— Вот чем жены-то занимаются, когда мужа дома нет, — красоту наводят!

И Светлана потянулась к бумажной салфетке, чтобы стереть помаду.

— Не нужно! — попросил я. — В самом деле — так лучше.

Мне хотелось видеть ее красивой.

Но она вытерла губы.

— А если и лучше, что из этого? Для кого красоваться? Ну да ладно, о чем толковать-то без толку... Лучше скажите, вам Троицкий выступление на педсовете не вспомнил еще?

— Думаете, вспомнит?

— Обязательно... Не нравится мне здесь, Николай Сергеевич.

— А где лучше?

— Не знаю... По-моему, северяне лучше: прямодушнее, искреннее. А здесь юлят, трусят. Это Андрей меня сюда затащил. Говорил, тепло, фруктов много... Гниль тут, а не тепло: дождь да слякоть. Не то что у нас: мороз, лес настоящий, грибы, ягоды! В сто раз лучше. Уеду я отсюда, Николай Сергеевич.

— Да у вас дом почти готов.

— И дом брошу.

Я неумело попытался разубедить ее.

— Вам трудно сейчас, Светлана Васильевна, а когда трудно, всегда хочется бросить все

и начать сначала, на новом месте. Но не стоит так духом падать. Ничего Троицкий с вами сделать не сможет. Улягутся постепенно страсти, и мы все вместе выпьем наливки у вас на новоселье.

Я понимал, что слова произношу слабые, но мне очень хотелось хоть немножко подбодрить, поддержать Светлану. Она видела это и спорить не стала.

— Может быть, все и будет, как вы говорите: и страсти улягутся, и строптивость моя поутихнет, и дом будет, и наливка. Но разве для того мы живем, чтобы построить дом и пить в нем наливку? — И, не дожидаясь моего ответа, добавила горько: — Знаете, как тяжело, когда все на тебя!.. Один вы и вступились.

— Да и то неудачно.

— Наоборот. Если бы не вы, я могла б и вправду подумать, что преступница. Нет, за это выступление спасибо вам большое. Жаль будет новоселье без вас справлять.

— Почему без меня?

— Уедете вы весной.

Я подумал о Вике, о тех нескольких парах ребячьих глаз, что оживали на уроке, когда я рассказывал что-нибудь такое, чего нет в учебнике, о хозяйке, о самих Ступаках и покачал головой:

— Не думаю.

Кроме ребят, кроме Вики и всего того хорошего, что не хотелось оставлять, было и другое — настойчивое, хотя и не осознанное до логического завершения внутреннее ощущение, что уезжать еще нельзя, что еще пережито не все из того, что подготовил для меня Дождьгородок, что многое еще предстоит узнать и

понять, прежде чем я уеду. И наконец, было обыкновенное упрямство. В последние дни я получил несколько щелчков по носу, и мне не хотелось бежать, уступать нажиму.

— Думаю, что не уеду.

— Неужели еще на год останетесь?

— А почему бы и нет?

— Но зачем? Вы же можете поступить в аспирантуру, заняться научной работой! Там ваши знания, ваш труд будут цениться, будут приносить пользу, а здесь вы попусту растрчиваете себя. Бориса-то вам не одолеть. Выживет он вас. Вы же гордый — долго не протерпите.

— По-вашему, на него и управы нет?

— Пока нету, сами видели. В районо Троицкий первый авторитет. Куда еще пойдете?

— Можно поискать и другие места.

— Не нужно. Ах, Николай Сергеевич, была б я на вашем месте... Свободным, независимым человеком! Да что б я делала в такой дыре? Что вы тут хорошего увидели, кроме вишневой наливки да умных разговоров с моим мужем? Разговоры-то эти надоедят вам скоро, а наливка, наоборот, слишком понравится. Так и жизнь пройдет, не заметите.

Говорила Светлана так, что за каждым ее словом я чувствовал не столько желание разъяснить мои заблуждения, сколько свое, наблевшее и прорывавшееся из-под спуда. И впервые я услышал, вернее, даже не услышал, а уловил в тоне Светланы что-то недоброе по отношению к Андрею. Так сказала она об «умных разговорах».

Но я не хотел, чтобы она говорила то, о чем завтра пожалеет. Я попытался пошутить:

— Вы меня почти убедили. Наливку придется бросить.

— Вас убедишь! Мужчины же такие умные! Все, что я говорила, вы пропустили мимо ушей, но...

Что хотела еще сказать Светлана, я не узнал. Послышался шум в прихожей, и мы оба посмотрели на дверь. Открылась она медленно, будто человек, открывающий ее, входил в чужую, незнакомую комнату. Но это был Ступак.

Он вошел в сдвинутой на затылок шапке — и мне сразу бросилась в глаза его непривычная бледность.

Андрей увидел меня и усмехнулся:

— А я-то боялся, что жена скучает...

— Я не знал, что у вас сегодня кружок.

— Кружок? Да, был кружок, был...

Он снял шапку и пригладил волосы.

Я все еще не понимал. Ни бледности Ступака, ни красных пятен, которыми покрылись щеки Светланы. Я никогда не видел ее такой жалкой и растерянной.

— А это, Коля, хорошо, что ты зашел, голубчик...

Впервые он говорил мне «ты» и называл по имени.

— ... Самортизируешь нашу встречу. Знаешь, женщины почему-то удивительно непримиримы к нашим слабостям.

— Раздевайся, Андрей, — перебила Светлана.

— Раздеваться? Ах, да. Совершенно верно, мне надо еще снять пальто...

И тут только я разглядел его глаза и понял, поразившись. Всегда умные, понимающие



глаза Ступака были сейчас неподвижными и отсутствующими глазами смертельно пьяного человека. Да, именно смертельно пьяного, а не выпившего. Ступак был абсолютно пьян, пьян так, как бывают пьяны большие и неглупые люди, которых алкоголь не валит с ног и не превращает в идиотов.

Однако еще больше поразило меня то, что в лице Светланы я не заметил удивления. Тут были и гнев, и стыд, и отчаяние, но это было отчаяние человека, схваченного за горло знакомой и неотвратимой бедой.

Я встал в растерянности, не зная, что мне сделать.

Светлана сказала сама:

— Извините, Николай Сергеевич, Андрей Павлович неважно себя чувствует...

— Да, я понимаю, мне пора,— пробормотал я, испытав облегчение от этого разрешения немедленно уйти.

— Почему пора? — возразил Ступак.— Время еще детское, посидим, потолкуем.

— На сегодня хватит,— перебила Светлана твердо.

— Да, мне пора,— повторил я в страхе, что он начнет удерживать меня с пьяной настойчивостью.

Но Андрей не стал этого делать. Он сказал только:

— Значит, на расправу выдаешь? Ну ладно, иди. Я привык уже...

И грузно опустился за стол, бросив на клеенку тяжелые руки.

Следовало сказать «до свидания», но он уже не смотрел на меня, и я молча натянул свое пальтишко.

— Сейчас я открою вам.

Светлана вышла вместе со мной в коридор, и на минуту мы оказались рядом в темной тесноте. Дверь в комнату я притворил, и оттуда не слышалось ни звука, как будто в комнате никого и не было. Слышно было только, как Светлана ощупью ищет замок, да еще ее прерывистое отчаянное дыхание. Наконец что-то щелкнуло, и мы вышли на крыльцо. Во тьме моросил мелкий дождь. Я протянул ей руку:

— Держитесь, ладно?

Светлана не ответила. Она только взяла мою руку, слабо сжала ее и вдруг уткнулась лицом в мое пальто. Я успел подхватить ее вздрагивающие от рыданий плечи.

— Что вы, Светлана Васильевна! Светлана... Ну зачем так?

В ответ она застонала, как очень больно раненный человек.

— Не нужно, не нужно так,— просил я, чувствуя, что мне хочется прижаться губами к ее заплаканным глазам, и совершенно не думая об Андрее.

Но тут она рывком, как бы испугавшись, отшатнулась от меня и бросилась в коридор. Я остался один.

В ту ночь я долго не спал. Лежал и смотрел, как пробегает по стене свет фар редких ночных машин. В комнате было тепло и тихо. Только рыжий хозяйкин кот, которому я иногда позволял ночевать в ногах под одеялом, мурлыкал, довольный уютом, и я старался не ворочаться, чтобы не беспокоить его.

Почему-то мне вспомнился один случай из

детства. Когда в сорок втором немцы начали бомбить наш город, мы с матерью уехали к родне в маленький хутор у Волги. Летом через хутор потянулись беженцы. Однажды к нам во двор зашли двое — один пожилой, другой, наверно, молодой, но очень худой, в очках, с измученным длинным лицом, — и попросили продать им что-нибудь из еды.

Моя дальняя тетка от обесцененных денег наотрез отказалась, но попросила беженцев собрать в копны скошенное на лугу сено.

Я сидел на пеньке и смотрел, как они работают. Запомнились неловкие движения худых неумелых рук и особенно ноги того, что был помоложе. Наверно, он совсем недавно добил свои ботинки и шел теперь босиком. Этими босыми, не успевшими заглубеть ногами он наступал на жесткую стерню, напрасно пытаясь быть осторожным, ноги его были изодраны в кровь. И я, глядя на эти белые, в синеватых жилках и красных присохших струйках, ноги человека, уходящего от смерти, впервые почувствовал чужую боль и страдание, которое я не в силах облегчить.

Такую же бессильную жалость испытывал я и в ту ночь. Крепость, которой я представлял себе семью Ступаков, развалилась у меня на глазах. Я видел во тьме глаза Светланы, какими запомнил их на пороге, когда она глянула на меня, перед тем как уткнуться лицом в плечо. Это были глаза человека, которому неволею терпеть, которому нужна помощь. Но чем я мог помочь ей?

Невольно я сравнивал ее с Викой. Нет, Светлана по-прежнему была неотделима в моих глазах от Андрея, как и себя я не мог от-

делить от Вики. Думал я о том, что Вика, такая щедрая на ласки, собственно, совсем не нуждается во мне. Ведь ей ни разу не захотелось прижаться ко мне и заплакать. Среди горьких минут, пережитых Викой, не было таких, когда бы она не могла справиться с собой. И я решил, что не скажу Вике о том, что произошло у Ступаков. Но Светлана тоже никому ничего не скажет. Значит, случилось такое, что останется только между нами. И я не знал, радоваться этому или тревожиться.

А кот в ногах спокойно мурлыкал. Мудрый кот понимал, что жизнь еще только пощелкивает меня по носу, и все это пока скорее неприятно, чем по-настоящему больно.

□

Утром в учительской я увидел Светлану и Андрея, как обычно разговаривающих с учителями, и ночные события показались мне менее драматичными. Я поздоровался и отошел в сторону, подумав только, что будет лучше, если на время перестану бывать у Ступаков.

С этой мыслью я стоял у окна, когда в учительскую вкатил свой животик Тарас Федорович. Секунду он покачал им в дверях, потом ловко подхватил ремнем и помчался ко мне.

— Поздравляю!

— С чем это? — спросил я, тоскливо улавливая в его голосе знакомое раздражение, без которого завуч не обращался ко мне в последние дни.

— Бандура на вас жалобу написал!

— Забавно.

— Не вижу ничего забавного. Очень стыдно.

— Ему?

— Нет, вам должно быть стыдно!

— Почему? Вы же сами возмутились...

— Да, я возмутился, но я педагог и рукоприкладство под защиту не беру. А вы осмелились защищать мордобой от имени школы!

— С Бандурой я говорил только от своего имени...

— Скажите, пожалуйста! От своего имени! А кто вы такой? Частное лицо или представитель коллектива?

— Представитель коллектива...

— Вот и отвечайте теперь перед Борисом Матвеевичем.

— Разве Борис Матвеевич коллектив?

— Неуместная шутка, очень неуместная!

Я вошел в кабинет.

Собственно, это была даже не жалоба, а крик души оскорбленного в лучших чувствах честного человека, гневный вопрос:

«С каких пор в советской школе стали защищать мордобой? Я об этом никаких указаний не читал...»

Тут я улыбнулся. Значит, вся беда в том, что били без указаний!

«... не читал, а потому требую разобраться с молодым учителем, который от имени советской школы берет под защиту хулигана».

— Вот видите, к каким последствиям приводят наши ошибки? — спросил Троицкий, когда я дочитал до конца.

— Вы хотите сказать «мои ошибки»?

— Нет, я хотел сказать «наши». Вы представляете школу, и школа отвечает за вас.

Это я уже слышал от завуча.

— За что же отвечать? Просто вздорное письмо не особенно умного человека.

— Ну что ж, постарайтесь опровергнуть его. Напишите подробную объяснительную записку.

Я посмотрел на директора, и он спокойно выдержал мой взгляд.

— Хорошо, — сказал я. — Если это необходимо...

Сначала я хотел написать коротко и зло. Что-нибудь вроде: «Мало получил этот пакостник», но, когда сел за стол и положил перед собой лист бумаги, немного поостыл. Все-таки сдержанный и почти доброжелательный тон Троицкого здорово сбивал меня с толку. «Ладно. Напишу подробно», — решил я. Начал и увлекся. Мне захотелось аргументированно доказать, что люди, подобные Бандуре, — это ядовитые грибы. Разлагая своих детей, они бросают в землю семена, которые поднимутся густым сорняком и будут душить чистый посев.

Я исписал не один черновик, пока получилось так, как хотелось. Мне даже показалось, что написано здорово, и, довольный собой, я великодушно признал: «Возможно, я поступил непедagogично, показав, что одобряю поступок солдата». Однако закончил твердо: «Но не это главное. Главное — всеми силами бороться с уродливым воспитанием в семье. Считаю, что школа должна обратиться по месту работы Бандуры и разъяснить там недопустимость его поведения».

Я засиделся за своим словотворчеством допоздна и, когда закончил записку, почувствовал, что безумно хочу спать, а нужно было еще составить конспект к завтрашним урокам.

Конспекты я писал аккуратно. Тарас Федорович даже демонстрировал их в учительской как образцово-показательные.

— Вот посмотрите! Не мешает и более опытным товарищам так готовиться!

Но в тот вечер усталость сморила меня, да и тема была хорошо знакомая. Поддавшись слабости, я решил, что ничего страшного не случится, если я и не распишу завтрашний урок в тетрадку по минутам.

Может быть, все и обошлось бы, приходи я к самому звонку. Но, как назло, я пришел раньше времени и попал в «облаву», которую завуч устраивал обычно раза два в месяц. Когда я вошел в учительскую, все стояли вокруг стола, а Тарас Федорович просматривал планы уроков. Я попытался не заметить этого мероприятия, но безуспешно.

— А ваш конспектик?

— У меня нет.

Всякая проверка — своего рода психологическая загадка. Цель ее вроде бы не допустить нарушений, однако каждый контролер всегда страдает, если ему не удастся обнаружить нарушителя. Завучу повезло. И я сразу увидел по его оживившемуся лицу, что дело не обойдется обычной нотацией.

— Как же так — нет? Почему нет?

Можно было, конечно, поплакаться в жилетку, но меня покорило откровенное злорадство.

— Не писал.

— А вы знаете, что это ваша обязанность?

— Знаю.

— Почему же вы ее не выполняете?

— Не успел, времени не хватило.

— А вам известно, что я имею право не допустить вас к уроку?

— Известно.

— Я сомневаюсь в том, что вы готовы к уроку! Вы к нему не готовы!

Я пожал плечами: «Господи! Ну за что он меня так невзлюбил?!»

— Почему вы не отвечаете? Готовы вы к уроку или нет?

— Готов.

— Хорошо, сейчас мы это проверим. Я пойду с вами на урок.

— Пожалуйста! — сказал я по возможности спокойно, но он добился своего — я начал нервничать. Я не любил его визитов. В отличие от Троицкого, Тарас не умел вести себя на уроках. Если директор сидел незаметно на последней парте с карандашом и тетрадкой, то завуч «активно участвовал», то есть делал замечания ученикам, задавал вопросы и вообще держался, как нервная женщина за пять минут до отхода поезда. Все это выбивало из колеи.

Но сегодня Тарас превзошел самого себя. Начал он с того, что заставил ребят два раза вставать: ему показалось, что они приветствовали нас недостаточно энергично. Потом отобрал пару авторучек. Дальше пошло совсем плохо. Завуч перебивал меня, грозил кому-то пальцем, стучал карандашом по парте и в конце концов я почувствовал, что теряю контроль над собой и над классом. Я вызывал не тех, кого собирался, а когда пришло время объяснять новый материал, мне уже было все равно, чем кончится этот урок, и объяснял я действительно скверно.

Теперь Тарас собрал все козыри. Оставалось только бросить карты.

— Вот видите! — торжествующе сказал он после звонка.



— Вижу, — ответил я апатично и поплелся в учительскую.

Там машинистка прикалывала на доску приказ. В приказе говорилось, что «преподаватель Крылов Н. С. неправильно, непедагогично вел себя при посещении на дому ученика Бандуры А., чем подорвал авторитет школы и сорвал порученное ему мероприятие». Учитывая непродолжительный стаж работы и отсутствие взысканий, директор счел возможным ограничиться тем, что ставил мне на вид.

Иногда очередной удар не добивает, а прибавляет злости. От моей апатии не осталось и следа. Возмущал не сам приказ, а то, что директор даже не счел нужным поинтересоваться объяснительной запиской, которая лежала у меня в кармане. Кроме того, приказ вывесили на стенку, где его мог читать каждый, в том числе и ученики. Они ведь тоже заходили в учительскую.

Я без стука распахнул дверь в директорский кабинет и услышал, как Тарас Федорович, стоявший у стола, говорил Троицкому:

— Нужно принять самые серьезные меры, Борис Матвеевич.

Может быть, это относилось и не ко мне, но, наверно, все-таки ко мне, потому что директор перебил его:

— Входите, входите, Николай Сергеевич.

Голос, как всегда, звучал вполне доброжелательно, но с меня было достаточно:

— Вы не должны были выносить выговор, не прочитав записку! Вы же сами заставили меня писать ее!

— Во-первых, Николай Сергеевич, вам поставили на вид, а не вынесли выговор. Это ве-

щи разные. А во-вторых, вы, кажется, забыли, что говорите с директором школы!

Доброжелательности больше не было, был холодный, официальный тон.

— Давайте вашу записку.

Я бросил на стол смятую бумажку, но Троицкий не желал замечать моих выходов. Он взял ее, развернул не спеша и поправил на переносице очки.

Мы с завучем стояли по разные стороны стола и старались не смотреть друг на друга.

Директор читал медленно, в одном месте он покачал головой, достал из массивного гипсового стакана красный карандаш и пометил что-то в тексте.

— Ну что ж... Ваша записка ничего не меняет. Вы признаете, что одобрили хулиганский поступок солдата и упорствуете в своей неправоте. К сожалению, я этого и ожидал. Так что взыскание вы получили совершенно справедливо. И боюсь, что оно не последнее, судя по тому, что мне рассказал Тарас Федорович.

— Что же вам рассказал Тарас Федорович?

Завуч толкнул было вперед свой животик, но Троицкий махнул на него рукой.

— Тарас Федорович сказал, что вы пришли в школу без конспекта и не были готовы к уроку, а это худшее, что может сделать учитель.

— Если бы Тарас Федорович не вмешивался в ход урока, может быть, он прошел бы и лучше.

Это было так наивно, что Тарас только всплеснул руками.

Троицкий вздохнул:

— Я, Николай Сергеевич, если вы помните, не вмешивался в ход вашего урока, а вы-

воды и у меня были критическими. Вы плохо начинаете свой трудовой путь, Николай Сергеевич! Самомнение, нескромность, невыдержанность — это не те качества, которые нужны педагогу. Мы встретили вас очень хорошо и были рады принять вас в свою дружную семью... Но вы ведете себя неправильно, в ошибках упорствуете, и наш долг состоит в том, чтобы поправить вас, поправить резко, если это необходимо, а это несомненно необходимо!

Я вышел из кабинета. В коридоре стояла Вика и разговаривала с учениками.

— Николай Сергеевич, на минутку!

Я остановился, она подошла ко мне.

— Прийди сегодня обязательно. Это очень нужно. Ладно?

Я кивнул. Мне стало немножко неловко, потому что я не появлялся у нее уже несколько дней. «Наверно, беспокоится из-за моих неурядиц», — подумал я. Говоря по правде, я не хотел навязывать ей свои неприятности. Да и поймет ли Вика меня до конца? Скорее, скажет: «Ты же всегда можешь плюнуть на эту богадельню!» Конечно, я мог плюнуть, но «богадельня»-то останется и будет продолжать перемалывать таких, как Светлана, или выталкивать таких, как я. «А тебе-то что?» — скорее всего возразит Вика. Она ведь убеждена, что хорошее в этом мире нужно искать, как золото, в одиночку и не думать о неудачниках. Но я не думать не мог хотя бы потому, что сам ощущал себя таким несправедливо высеченным неудачником.

Смешно сказать, что я никак не мог смиряться с тем, что есть люди, которые относятся

ко мне враждебно. Наверно, мне просто везло до сих пор, но я всегда правился окружающим. Мальчишкой, во дворе никогда не ревел, не ябедничал, лез в драки за своих, и меня за это любили. В школе никому не отказывал в помощи, одним объяснял непонятное, другим просто давал списать и считался хорошим парнем. В университете был всегдашним кандидатом на всевозможных выборах и простодушно верил, что нельзя не любить такого неглупого, невредного и порядочного парня, каким я себя считал.

И вдруг эта открытая враждебность двух-трех человек, вроде Тараса Федоровича или Прасковьи, при молчаливой поддержке большинства. А сомневаться не приходилось: большинство учителей не на моей стороне. Искренне, откровенно не на моей. Причин этого я понять не мог — ведь я вел себя так «правильно»! — я был слишком неискушен в делах житейских, чтобы увидеть, что своим поведением не воодушевляю этих людей, а скорее попрекаю тем, что они свыклись с происходящим в школе, напоминая о временах, когда они и сами возмущались директором. Но времена те прошли, и учителя, в большинстве, тесно привязали себя к школе и городку. Я вносил беспокойство в их жизнь. Не все они имели дипломы об окончании вуза, были профессионально уязвимы, а уходить им было некуда. Многие пообстроились, завели хозяйство, думали об учительской пенсии. Я был для них пришельцем, нарушившим привычные правила игры.

Возвращаться в учительскую было тяжело, однако я собрался с духом. Не хотелось, чтобы меня видели побитым.

У окна за столом Светлана проверяла тетради. Она глянула на меня тревожно, не доверяя бодрому выражению моего лица. Эта тревога в ее глазах вернула мне силы. И, позабыв о недавнем решении держаться подальше от Ступаков, я подошел и присел за стол рядом. Не поднимая головы, Светлана написала на промокашке:

Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись:  
День веселья, верь, настанет.

□

Вечером, валяясь на койке в ожидании своего обычного часа, я покаянно решил, что отношусь к Вике по-хамски. Кроме букетика в день рождения, я не сделал ей ни одного подарка. И мне захотелось сделать ей что-нибудь приятное немедленно, сейчас.

А немедленно сделать ничего было нельзя. Время слишком позднее. Пришлось довольствоваться бутылкой шампанского из станционного буфета-ресторана. Я прикупил к ней шоколад, не первый месяц пылившийся на витрине, и все-таки почувствовал некоторое облегчение мук совести.

С этим облегчением на душе и тяжестью в отвисшем кармане я и толкнул дверь... Вика не вышла встречать меня, я подумал, что она задремала, и обрадовался этому, представив, как я сначала выложу на стол свои покупки, а потом уже разбуду ее поцелуем.

Но Вика не спала. Она ждала меня, сидя

в кресле в свитере и в лыжных брюках, а на столе стояла бутылка вина и два бокала.

— Вот это да! А я-то собирался сделать тебе сюрприз...

И я несколько разочарованно поставил на стол шампанское. Вика усмехнулась грустно-вато:

— Нет уж, сегодня сюрпризы за мной.

— Какой же юбилей нам предстоит отметить?

— Сейчас узнаешь,— сказала она серьезно.

Присев на ручку кресла, я заглянул ей в глаза.

— Юбилей невеселый?

— Я уезжаю, Коля.

Да, она не любила дальних подходов и выражала свои мысли ясно и коротко. Мне стало больно-больно. Я никогда не думал, что это может произойти так скоро.

— Ты же умница, Коля, правда?

Что я мог ответить?

— Знаешь, мне всегда было немножко обидно, что ты меня мало любишь. Такой неискоренимый женский эгоизм. Нам хочется жертв, обожания, даже страданий. Мы ведь отдаем мужчинам очень много. Но сейчас я хочу, чтобы ты любил меня совсем немножко и не переживал.

Я отодвинулся от ночника, который освещал мое лицо.

— Мы как-то договаривались,— продолжала она,— что ты полюбишь меня потом. Помнишь? Когда проживешь еще долго-долго и поймешь, что я хорошая...

Она утешала меня, как малыша, у которого отнимают игрушку.

— Почему ты уезжаешь?

— Я выхожу замуж, Коленька.

— За кого?

Я спросил, потому что в самом деле не мог сообразить, за кого же она может выйти замуж. Я ведь не делал ей предложения!

— За Алексея.

А я-то совсем позабыл о нем, несмотря на случайные встречи в городе и вежливые приветствия на ходу. Вот как! Здоровались и шли своей дорогой, а на самом деле играли в довольно сложную игру, где выигрыш первого круга вовсе не обеспечивал победы.

— Он получил новое назначение. Во Львов. Нужно было решать немедленно.

— Говорят, Львов красивый город.

— Да, говорят. Тебе тяжело, Коля?

Наверно, ей хотелось, чтобы мне было не тяжело и все-таки тяжело, хотя бы немножко. Ведь иначе зачем было все то, что было с нами?

— Нет, то есть да, конечно. Но я понимаю. Какой из меня муж... А он, кажется, хороший человек.

Назвать его по имени я не мог.

— Да, он хороший.

— Ты любишь его?

— Хочу полюбить. Хочу полюбить, Коля. И вообще хочу быть хорошей женой, иметь детей, штопать носки... Наверно, время подошло. Я ж уже не такая молодая.

— Когда вы едете?

— Завтра.

— Завтра?!

— Да, завтра. С Троицким я договорилась

еще пять дней назад. Он не ерепенился. Даже наоборот.

— Ученики тебя любят.

— Любят, я знаю. Я хотела остаться до конца года, но Алексей предъявил ультиматум. И правильно сделал, конечно. Еще неизвестно, приехала бы я к нему или нет.

— Значит, завтра?

Выговорить это было легче, чем поверить.

— Да, завтра. Я не хотела тебе говорить до последней минуты, а то было бы еще тяжелее.

— Наверно. Ну, давай все-таки выпьем.

— Только не шампанское.

Я разлил вино.

— За твоё счастье!

— Спасибо. Я очень хочу счастья, а еще больше — покоя. Но сначала выпьем за молодость, которая сегодня кончилась. Она у меня была не ахти какая, но ведь другой совсем не было.

Я выпил вино залпом. Неужели Вики уже нет, неужели завтра ее не будет ни в этой комнате, ни в этом городе, ни в моей жизни? И мне вдруг захотелось вернуть ее, сделать невозможное... Но она догадалась и покачала головой:

— Нет, Коля, нет.

Всё кончилось. У мальчика, что выводил рядом с моей ее линию, сломался карандаш.

Вика разлила в бокал то, что оставалось в бутылке.

— Давай выпьем, чтобы нам когда-нибудь встретиться. Случайно и неожиданно.

— Да, в незнакомом городе. Я очень хорошо вижу, как это произойдет. Будут бежать троллейбусы, машины, спешить люди — и сре-



ди них ты, представительная, интересная дама, а какой-нибудь малыш будет тянуть тебя за руку и канючить: «Мама, ну пойдём... Ма-а-а...» А ты скажешь внушительно: «Как тебе не стыдно, сынок! Разве ты не видишь, что я разговариваю с дядей? Дядя подумает, что ты невоспитанный мальчик!»

Вика слушала с улыбкой.

— Изумительная картина. Я тоже представляю тебя. С брюшком и в шляпе. Ты будешь вежливо улыбаться и придумывать фразу, которую уместно сказать на прощанье.

— Это уже не смешно.

— Пожалуй, но так бывает. Кстати, ты когда уедешь отсюда? Весной?

— Не знаю. Я не думаю об этом.

— Мечтаешь перевоспитать нашего папу?

— Нет, только не перевоспитывать.

— Повоевать хочешь? Не советую. Брось это мальчишество. Не трать, кума, силы, как хохлы кажут.

— Опускайся на дно?

— Зачем на дно? Возвращайся домой, в университет, берись за науку. Наука — это положение. А здесь...

— Между прочим, на днях мне почти тоже самое говорила Светлана.

— А... соперница! Это она правильно сказала. Тебе в самом деле нужно уезжать. Если не уедешь, можешь наделать много глупостей.

— Ты же сама говорила, что мне ничего не грозит. Ну, выгонят...

— Я не про те глупости. Я про Светку. Можно здорово попортить жизнь трем людям.

— Думаешь, я тебя так быстро забуду?

— Сначала да. Моя очередь впереди. Ты

слушайся меня. Я знаю, что говорю. Удирай в университет. Подберешь себе девочку-студенточку, ошастливишь ее, женишься.

— Не нужно об этом.

Я поднялся, и она не остановила меня. Наверно, ей было бы тоже тяжело, если б наше прощание затянулось.

— Холодно, — сказала Вика, — и сыро. Не простудись. — Она поправила шарф у меня на шее. — Какой он у тебя старенький. — И вдруг чему-то обрадовалась: — Подожди минуточку! — Вика открыла дверцу шкафа. — Вот, возьми. Он хороший, мягкий-мягкий! Это мне бабушка связала.

Шарф был действительно мягкий и теплый. От него пахло духами. Ее духами.

Дверь закрылась за мной, и в первый раз, закрыв эту дверь, я не оглянулся по сторонам, высматривая случайных прохожих, — теперь это не имело значения...

И все-таки я увидел ее еще раз.

На вокзале.

Нет, я не собирался туда, я просто вскочил, когда до отхода поезда оставалось пятнадцать минут, и побежал, застегивая на ходу пальто.

Дождь перестал, и на городок опустился густой туман. Он заполнил все от земли до неба и светился вокруг лампочек желтыми шарами, навешенными вдоль улицы на невидимую нитку. Я бежал от шара к шару, и мне было трудно дышать от усталости и тяжелого, лишнего воздуха.

Вокзал был переполнен людьми с узлами, чемоданами и корзинами и просто без всего,

В толстых сырых пальто, стеганках и даже полушубках. Пахло старой дорожной одеждой, дешевым табаком, залитыми карболкой вокзальными уборными и еще чем-то скверным, нечистым в этом тесном зале, где люди растаптывали по полу натасканную подошвами грязь.

Я бросился через толпу к выходу на перрон, но туда не пускали без билетов, а возле кассы судорожно пульсировала живая очередь. Снаружи три раза ударил колокол. Я снова выскочил на площадь. Ее отделяла от перрона длинная литая решетчатая ограда. За ней метрах в пяти-шести на первом пути стоял львовский поезд. Я взялся руками за прутья решетки и приник к ограде. Тут же раздался гудок, паровоз резко дернул вагоны, и они застучали буферами, будто шарахнулись от этого неожиданного толчка, а потом, как овцы, послушно потянулись с места. Провожающие шли рядом с вагонами и кричали и махали руками.

Над их головами я и увидел майора. Он тоже махал кому-то с площадки, а Вика стояла у него за спиной, спрятав подбородок в воротник черной котиковой шубки. Вагон прокатился мимо, и тут перрон окутал белый пар, долетевший от паровоза. А когда клочки пара расползлись по сторонам, мимо меня уже торопливо простукивали последние вагоны. Я выпустил из рук решетку.

Нужно было идти домой, но я снова прошел через зал, где стало посвободнее, и зашел в буфет.

— Двести коньяку, пожалуйста.

— Конфетку дать? — спросила буфетчица, не глядя на меня.

— Дайте.

Я задержал дыхание и крупными глотками выпил густую коричневую жидкость. Потом, все еще не дыша, раздавил зубами вязкую конфету. Стало теплее и спокойнее.

Мне захотелось пройти мимо дома, где жила Вика. Я свернул в совсем темный переулок и пошел протоптанной возле плетней дорожкой. Я уже не думал, что произошло что-то непоправимое. Пусть мы не можем быть вместе, но что из этого? Ничто еще не кончено. Мы еще встретимся где-нибудь неожиданно, и это будет замечательная, чудесная встреча, совсем не такая, как мы вчера представляли. Нет!

Случится это где-нибудь на юге, будут цветы магнолии, шуметь море, голубеть далекие горы. Мы будем сидеть в ресторане и слушать изумительно красивую музыку.

И она скажет: «Знаешь, миленький, а ведь по-настоящему я любила только тебя, тебя одного...»

Я не замечал, как по моим щекам катятся капли снова пробившегося сквозь туман дождя.

Вот и калитка, из которой я вышел вчера вечером в последний раз. За ней — мощеная дорожка. Все как и было. Только на окне, закрытом ставнями, — перекладиной креста железный засов. Шальная мысль пришла в мою пьяную голову: мне захотелось войти во двор и попробовать ручку двери. Ведь она всегда была незапертой для меня. Я даже взялся за щеколду калитки.

Где-то поблизости залаяла собака. Не на меня, так, сама по себе, может быть, в ответ на свои грустные собачьи мысли. Я бросил щеколду и быстро пошел прочь, попадая ногами в грязь сбоку тропинки. Теперь уже какая-то

сила несла меня в сторону от этого дома, как будто я спешил, мчался туда, на юг, где магнолии и где Вика встретит меня. Я не мог думать, что она сейчас сидит за столиком в купе и смотрит в темное окно, за которым ничего не видно, а Алексей аккуратно раскатывает на полках матрасы.

□

Хотя в маленьких провинциальных городках любят посплетничать и посудачить, отъезд Вики прошел как-то незаметно. Наверно, потому, что многие в школе были ему рады и считали неприличным открыто высказывать свои чувства.

Только Прасковья с присущей ей прямолинейностью произнесла по этому поводу небольшую, но энергичную речь в учительской. Я попал на конец ее, когда Прасковья говорила:

— ...Таких вертихвосток нужно лишать учительского звания...

Конечно, эта болтовня не могла уже повредить Вике, но я вступился:

— В чем же вы видите ее вину?

— Школу бросила среди года!

— Но ее муж получил назначение, а он военный.

— Военный... Тем более понимать нужно, что кто стоит.

— Жаль, что он вас не слышит.

— А то испугалась бы? Правду говорю! Да и все мужики на один манер, всем одно и то же нужно.

— Вы несправедливы к мужчинам. Навер-

но, они в свое время уделяли вам мало внимания.

Я бил так же, как и она,— грубо и больно.  
Прасковья вскипела:

— Я за их вниманием не бегала. А вы, молодой человек, не будьте всеобщим адвокатом. Не заступайтесь за каждую...

— За каждую не буду. Вас бы, например, я не стал защищать...— И, подождав, пока она вытаращит глаза от моей наглости, добавил спокойно: — Вы и сами всегда защититься можете.

Придраться было не к чему.

И еще один разговор о Вике произошел у меня, с учениками. Начался он неожиданно. Я закончил урок и собирал пособия, когда кто-то из ребят спросил:

— Николай Сергеевич, а вы скоро уедете?

— Я? Почему вы решили, что я уеду?

— Да вот Виктория Дмитриевна уехала. Хорошие учителя все уезжают.

— А она была хорошая? Двоек ставила мало?

Ребята немножко обиделись:

— Ну что вы! Разве мы не понимаем... С ней поговорить можно было. И не орала никогда, как Царапа.

— Прасковья Лукьяновна,— поправил я механически. Я думал о том, что о Вике говорят уже в прошедшем времени.

— Жалко, что она уехала...

— А что тут хорошего, в нашей деревне? Правильно сделала...

Разговор с ребятами как-то подбодрил меня и помог легче перенести новую оплеуху. Троицкий «принял меры». Я получил выговор за то,

что явился на урок неподготовленным, и расписался в приказе, будто это был не выговор, а секретный документ.

Расписавшись, я спросил у секретарши, которая старательно промокала мою подпись:

— Какие еще существуют взыскания?

— Как какие? Строгий выговор...

— А еще?

— Получите строгий — тогда скажу, — ответила секретарша неодобрительно.

— Ну, ждать недолго...

— Напрасно вы так легкомысленно относитесь к взысканиям. Это может для вас плохо кончиться.

— Расстреляют?

Она только махнула рукой.

Да и не она одна. В школе все больше начинали смотреть на меня, как на потерянного. Я чувствовал, что окружающие представляют мое будущее гораздо отчетливее, чем я сам, и злился, а вокруг меня постепенно образовывался своего рода вакуум.

Чем-то эти дни после отъезда Вики напоминали мои первые недели в Дождь-городке. Так же, как и тогда, я почти все свободное время проводил дома, но теперь не за книжками (читать не хотелось), а больше просто так, в размышлениях. И еще я часто и подолгу беседовал со своей хозяйкой.

Я уже говорил, что оценил ее сразу, и теперь окончательно убедился, какой это умный и сердечный человек. Я не рассказывал Евдокии Ивановне всего, что происходило в школе, но всегда чувствовал, что она видит и понимает мое настроение, что она на моей стороне.

Ей пришлось многое пережить, как почти

всем людям, родившимся к началу нашего многострадального века. Видела она и голод, и войну, и болезни. Потеряла мужа, убили на войне сына. И потому, наверно, хотя и держала в горнице икону, в бога верила слабо, считала всемогущество его преувеличенным и говорила так:

— До всех нас, Микола Сергеевич, видать, руки у него не доходят. Иначе откуда столько несчастья берется? — И, вздохнув, добавляла: — Сами мы о себе больше думать должны. Друг другу подлости не делать, не грешить.

Слушая вечерами ее ненавязчивые рассказы о прошлых годах, о войне, о горе, что пришлось хлебнуть в избытке, спокойные, неторопливые рассказы, без жалоб на судьбу и без лицемерной покорности, соперяживая чужим бедам, я ощущал себя одним из очень и очень многих людей, и собственные беды начинали казаться мне не такими гнетущими, и на душе становилось легче.

Я старался как мог помогать Евдокии Ивановне в домашних заботах: колол дрова, топил печку. Мне было приятно выразить таким образом свою признательность, отблагодарить за все, что она делала для меня. Помощь мою она принимала с достоинством, сама ни о чем не просила, но и в благодарностях не рассышалась. Просто я знал, что всегда найду в шкафу выстиранную и выглаженную рубашку, а в воскресенье к обеду будет что-нибудь из того, что я любил дома.

Последнее время Евдокию Ивановну одолевали новые тревоги. Несколько лет назад дочка ее окончила техникум в Одессе и вышла там замуж. Замужество дочери стало для Евдокии



Ивановны очередным испытанием. Брак она одобрила, а оказался он неудачным. Про зятя Евдокия Ивановна рассказывала так:

— С виду он мужчина хоть куда: представительный, высокий, ко мне в хату зашел, так в дверях аж согнулся. Уважительный очень и Верочку любил. А оказался — несчастна людина, алкоголик. И сам горю такому не рад, а сделать ничего не может. Даже наука не помогает. Жалко мне его было, а дочку того жалче. Нема ей с ним жизни, и все. Терпела-терпела, а как напился он да избил ее, я сказала: «Уходи, Вера! Не будет тебе с ним жизни». Так и пришлось расходиться. Больше году вин после приходил, все звал снова вместе жить, да разве можно это, если нет у него силы горилку эту проклятую одолеть?

Теперь Вера была замужем снова, на этот раз удачно, и ждала ребенка. Событие это порождало множество проблем и должно было самым существенным образом отразиться на будущем Евдокии Ивановны.

— Видать, придется мне хату продавать да в город перебираться. Зятю квартиру завод обещает, а за дитем присмотр нужен. Они ж оба працуют... Тяжко мне это будет, Микола Сергеевич. Привыкла я тут сама у себя хозяйничать. Считайте, десять рокив, як без чоловіка управляюсь. А теперь к зятю в няньки пошпуть.

— А они сюда не хотят переехать? — спрашивал я, хотя и знал хорошо, что не переедут.

— Нет, Микола Сергеевич. Такое уж время подошло, что все в город да в город. Они ж молодые, работу там мають, що им тут робить? — И, чтоб не дать волю своим сомнениям,

добавляла шутливо: — И я, бабка, за ними... Хай там, у городе, подывляться на бабку в чоботях. Вот, скажут, пугало с огорода!

Так полушутливо-полугрустно говорили мы о том сложном, что происходит в жизни, что бросает людей с места на место, отрывает от родительского крова. Под конец я обещал купить у Евдокии Ивановны дом и остаться навсегда в Дождь-городке. Она смеялась добродушно, и мы выпивали на сон грядущий по стопочке домашнего вишневого вина.

— В час добрый! — говорила Евдокия Ивановна...

А час-то был трудный. И не только потому, что Троицкий с Тарасом Федоровичем не давали мне покоя каждодневными придирами. Больше тревожило другое. Вика ушла из моей жизни так же внезапно, как и пришла в нее. И таким неожиданным и ослепительно щедрым было ее недолгое появление, что я больше удивлялся не исчезновению Вики, а тому, что она была. Конечно же, я не забыл ее, но теперь мне просто не верилось в то, что между нами было, не верилось в само существование Вики. Зато существовала Светлана, и мне все чаще казалось, что только о ней думал и думаю я с того самого дня, когда увидел ее в первый раз, когда Андрей, поставив на траву мой чемодан, открыл калитку и худенькая девушка с ровными соломенными волосами встретила нас на пороге беленькой мазанки.

Когда же это началось? Может быть, после той шутливой потасовки с мужем из-за Вики, когда она смущенно встретилась со мной гла-

зами, краснея и поправляя прическу? Нет, скорее на педсовете, когда она сидела одна, совсем одна, сжав губы, и ее били, а мне казалось, что бьют меня. И, конечно же, это уже было, когда она прижалась лицом к моему плечу, и я слышал, как бьется ее сердце.

Говорят, что нельзя не радоваться, когда любишь, но я не радовался, а мучился. Положение складывалось безвыходное. В самом деле, об отношениях, которые связывали нас с Викой, здесь не могло быть и речи. Невозможными были и любые другие отношения. Иногда мне приходила в голову сумасшедшая мысль увезти Светлану из Дождь-городка, однако у меня все-таки хватало ума тешиться ею не слишком долго. И дело, разумеется, заключалось не в том, что у Светланы был ребенок, что она была старше меня. Я еще не миновал того счастливого времени, когда возраст любимой не смущает. Дело было, конечно, в Андрее.

Да, я видел горе в глазах Светланы, когда он, пьяный, стоял, забыв, что нужно снять пальто; я представлял себе, что должна была она испытывать, когда Андрей молчал на педсовете, но я хорошо понимал: все это вовсе не значит, что семьи у них уже нет. И не из тех людей я был, которые способны использовать чужое несчастье. Нанести удар в спину Андрею представлялось мне таким же немислимым, как и предложить Светлане роль любовницы. Да и не был я настолько самоуверен, чтобы не сомневаться в ее ответных чувствах. Я ведь полюбил ее, а настоящая любовь не может быть самоуверенной.

Оставалось единственное — уехать. Я думал об отъезде, а сам считал, сколько часов оста-

лось до следующего дня, когда я снова смогу увидеть в школе Светлану. Ведь к Ступакам я теперь не ходил. Я боялся прийти и чем-нибудь выдать себя. А пойти хотелось невыносимо.

Но и они не приглашали меня. Каждый день мы виделись в учительской, перекидывались несколькими незначительными словами, даже шутили, однако ни разу ни Андрей, ни Светлана не сказали, как часто говорили раньше: «Что-то вы давно не заглядываете...» Видимо, оба считали, что так лучше, а я, понимая их правоту, был не в силах найти единственное решение и, измучившись в поисках, ждал очередного дня, зная одно: завтра у нее третий урок, а у меня второй, и я буду украдкой смотреть на часы, дожидаясь секунда за секундой звонка... А послезавтра наоборот: у нее второй, а у меня только четвертый, но я приду в школу раньше и буду делать вид, что пришел вовсе не для того, чтобы только увидеть ее на перемене, среди чужих людей, поглощенную обычными учительскими хлопотами и, возможно, совсем не думающую обо мне...

Думали обо мне директор и завуч. Я, видимо, странно вел себя с их точки зрения. Они не знали ничего о том, что волнует меня, чем я живу, и замечали только необъяснимое равнодушие к своим неутомимым маневрам, в котором наверняка видели проявление опасного упрямства.

После выговора я стал истинной притчей во языцах, фамилию мою неустанно склоняли на всех собраниях, педсоветах и совещаниях.

Между прочим, это отличный прием, и его нельзя не оценить. Он позволяет достигать цели с минимальными затратами усилий. Совсем не нужно было выискивать у меня новые грехи, достаточно было почаще повторять и осуждать старые, и все потихоньку убеждались, что учитель я ни к черту: ни с учениками не могу обходиться, ни с родителями, к обязанностям своим отношусь недобросовестно, старших не слушаюсь, ну что еще надо?..

Впрочем, предпринимались и более активные действия. У меня забрали три часа и посадили на строгую ставку. Наверно, с точки зрения Тараса Федоровича это был превосходный удар, а я его принял легко.

Взамен оплачиваемых часов я получил пару общественных нагрузок и тоже особенно не растерялся. Я был рад возможности заполнить свободное время. А аргументация завуча меня даже позабавила. Когда у меня забирали часы, я услышал:

— Вам нужно больше времени, чтобы работать над собой...

А когда подбрасывали нагрузки:

— Вы заняты меньше других.

Так они с Троицким настойчиво загоняли меня в угол, нетерпеливо дожидаясь, когда же наконец сдадут мои нервы.

□

Все покатилося под гору внезапно.

Я говорил, что Тарас Федорович был своего рода гением по составлению расписаний. Теперь я убедился в обратной силе его гениальности. Он умудрился вырвать у меня три часа

таким образом, что на каждый потерянный час пришлось по «окну». Особенно противным было «окно» после первого урока во вторник, в день, когда Светлана не имела часов вообще.

Но в тот вторник, придя утром, я увидел ее в учительской.

— Почему вы здесь? — спросил я радостно.

— Вера Константиновна просила посидеть в библиотеке...

И она объяснила, почему не могла прийти сегодня Вера Константиновна, наш библиотекарь, и почему она согласилась подменить ее.

Я не слушал подробностей. Это была невиданная удача! Целый час я смогу провести с ней, может быть даже вдвоем, в библиотеке! Ведь это так естественно, что учитель использует свободный час, чтобы поискать что-то в книжках. Даже не верилось в такое везение!

Выскочил я из класса, едва зазвенел звонок. Сунул журнал на полку и, не дожидаясь конца перемены, спустился на первый этаж.

В библиотеке было полно учеников, и все хотели читать про шпионов. Светлана отговаривала их.

— Хочу посмотреть кое-что к уроку, — соврал я весело, и она пропустила меня за перегородку к пыльным стеллажам. Там я взял первый попавшийся в руки томик и стал листать его, поглядывая на часы.

Наконец ребята разбежались по классам. В библиотеке стало пусто и тихо, и я почувствовал, что робею.

Светлана заполняла какую-то карточку.

— Что вы берете?

— Ничего.

— Ничего?

Я не знал, что сказать.

— Там нет того, что я искал.

Хорошо, что она не спросила, что же я искал.

— У вас «окно»?

— Да. Тарас удружил.

— Ну почитайте что-нибудь о шпионах.

— Разве вы не все раздали?

— Нет, есть книжки, которые все уже перечитали по десять раз.

Она протянула мне книжонку в затрепанном переплете:

— Вот. «Случай в маленьком городке».

— Это не про наш город?

— Не знаю. А разве у нас что-нибудь случается?

— Бывает и у нас...

Я открыл книжку где-то на середине.

«...Весь вечер майор Кузнецов размышлял над загадочной историей, происшедшей в Двуреченске...»

— Хорошая книжка. Но мне не хочется сейчас читать.

— Тогда помогите мне разобраться с карточками.

— С удовольствием.

— Отбирайте все на «М» и «Н».

Я подвинул к себе ящик. Работа была нетрудная. Трудно было сидеть рядом и говорить о чем-то незначительном.

— Ну, как идут дела в новом классе?

Недавно у Светланы забрали девятый, Прасковьян, и дали еще один пятый. Это был своего рода компромисс: Троицкий не хотел перегибать палку, однако Светлана получила кучу новых хлопот и последнее предупреждение.

— И труднее и легче... В младших всегда труднее, но зато их можно учить. И потом меня, кажется, оставили в покое.

— А меня покусывают понемножку.

— Я знаю. Это все из-за меня.

— Ну что вы! После того несчастного педсовета я столько ругался с ними...

— Но началось все тогда. И поэтому...

Она вдруг махнула рукой и не закончила.

— Вовсе не поэтому, — сказал я. — И забудьте эту чепуху. Мои дела не так уж плохи.

Сейчас, когда я сидел рядом с ней и впереди было еще целых тридцать минут, я не врал. Дела шли отлично.

— Николай Сергеевич...

— Да, Светлана Васильевна.

— Я хотела спросить вас...

Кажется, ей тоже было нелегко. Я видел, как тщательно выводила она буквы на карточках. Нет, не тщательно, а слишком старательно, излишне твердо, так что перо драло толстую волокнистую бумагу и разбрызгивало по ней маленькие фиолетовые капельки. А Светлана не видела этих капелек, хотя и смотрела на карточку.

— О чем же вы хотели спросить меня?

— Тогда, у нас, все получилось очень неудобно. Мне неудобно перед вами... и за Андрея тоже...

— А мне за себя.

— За себя? Почему?

— Мне кажется, я как-то помешал вам. Нет, не то... Не вовремя оказался. В общем, если бы я не пришел тогда, было бы лучше...

— Наоборот, хуже! Я бы опять все простила ему...



— Разве он так виноват?

— Он перед собой виноват. Он не понимает. И пусть не понимает! Но у меня же тоже силы могут кончиться!..

— Что же вы хотели спросить у меня?

Я задал этот вопрос, чтобы остановить ее. Не мне было судить Андрея.

— Что спросить? Да, я хотела спросить... Это очень заметно, как у нас с Андреем все не ладится? Я подумала, что, когда вы приехали, у нас этого не было, и вы видели все иначе, а теперь...

— Как я могу судить об этом? Что я знаю о семейной жизни? Раньше я бы наговорил вам кучу глупостей, а сейчас не хочу, разучился быть самоуверенным. Да и не могу я тут быть объективным.

— Почему?

Спрашивая, она подняла голову и посмотрела на меня, но вопрос я еле расслышал. Мы оба слишком хорошо поняли, что я хотел сказать, и оба испугались. Отвечать ей было страшно, но можно было и не отвечать. Можно было молча смотреть в глаза друг другу почти целую минуту и все понимать. Может быть, это была и счастливая минута, но она была и слишком тяжелой. И когда она кончилась, Светлана уронила голову на руки, и мне показалось, что она сейчас расплачется. Я должен был что-то сказать.

— Потому что вы оба мне не посторонние люди, — наконец произнес я и подумал отчетливо, что в следующий раз уже не смогу сказать «оба». А это значило, что нужно уезжать. В первый раз подумал я о своем отъезде как о неизбежном. Потому что нельзя было наде-

яться на большее, чем этот взгляд. Большее не принесло бы ни счастья, ни радости.

Говорить еще о чем-то стало невозможно. Мы молча заполняли карточки. И когда в коридоре слышались шаги, я почти обрадовался. Но я не знал, что идет Ступак. Я совсем не думал, что он может войти, потому что уроки у него в этот день были во второй смене. Но пришел все-таки он, и я вздрогнул, увидев его в дверях, вздрогнул, как воришка, хотя минуту назад и воображал себя благороднейшим человеком.

Собственно, в том, что мы сидели вместе в библиотеке, не было ничего предосудительного. Но так мог думать каждый, кроме меня, потому что я-то знал, зачем я пришел сюда, и я видел взгляд Светланы. Я почувствовал себя пойманным на месте преступления и понял, что черта, до которой я мог чувствовать себя спокойно и с чистой совестью, уже позади. Потому что мы всегда узнаем об этой грани, когда перейдем ее.

Андрей посмотрел на нас, однако я не заметил ничего, что говорило бы о его подозрениях.

— Здравствуйте, Николай Сергеевич, — сказал он очень обычно. — Чем хорошим занимаетесь?

— Да вот, вашей жене помогаю.

Сказав эти слова, я почувствовал себя омерзительно. Я был уверен, что Светлана презирает меня. Но что мог я сказать еще?

— Напрасно помогаете! Она сама на себя эту обузу взвалила, — откликнулся Ступак немного шутливо, немного ворчливо. — Светлана, я занес тебе ключ. Мне нужно сходить в город.

Он положил ключ на стол.

— Спасибо. Я пробуду здесь еще долго...

— Ничего, на всякий случай.

Светлана взяла ключ и спрятала в сумку.

— Ну, я пошел.

Она не ответила.

Ступак повернулся и вышел неторопливо, как и вошел.

Мы снова остались вдвоем. Я ждал звонка. Радости больше не было. Наверно, она переживала то же самое и не смотрела на меня.

— Скоро я уеду.

— Скоро?

— Да.

— До конца года?

— До конца года, — ответил я, повторив ее слова и не предполагая, что обязательство это мне придется выполнить досрочно...

Вечером у меня был кружок. Я очень любил эти незаметно бегущие минуты, потому что на кружок собирались самые любознательные ребята, и с ними я забывал Троицкого и его унылых подручных. В тот вечер мы особенно засиделись, и когда я выходил из школы, совсем стемнело. Я шел и думал, что должен все-таки остаться в Дождь-городке хотя бы до конца учебного года, как бы трудно это ни было.

— Николай Сергеевич!

Я оглянулся на голос. На углу стоял человек в пальто с поднятым воротником. Это был Ступак.

— Андрей Павлович? Кого вы здесь поджидаете?

— Вас.

— Меня?

— Да. Я зашел в школу, но у вас еще был кружок, вот я и решил прогуляться, подышать воздухом...

Нужно сказать, что воздух был неважный, пополам с туманом и примесью паровозной гари, долетавшей со станции.

— ...и чуть было вас не прозевал. А вы мне нужны.

— Сейчас?

Я почувствовал тревогу.

— Если вы не заняты...

— Нет. Я совершенно свободен.

— Вот и хорошо. А у меня сегодня день рождения.

Мне стало стыдно своих опасений, но идти к ним, шутить, пить как ни в чем не бывало наливку — это тоже пугало.

— Поздравляю вас.

Кажется, Ступак уловил мои колебания.

— Конечно, в такой день полагается приглашать гостей. Но у меня дома сейчас не та обстановка, чтобы гости могли веселиться, как положено. Да и мне самому не хочется веселиться. Вот я и выпил немножко на вокзале, а потом мне захотелось поговорить с вами, так сказать, представителем культуры в нашем затрепанном населенном пункте.

Итак, я снова видел его пьяным, правда, на этот раз на «законном» основании.

— Если хотите, пойдете ко мне. Я сейчас один. Хозяйка в Одессе, — предложил я, не зная, как повести себя.

Евдокия Ивановна действительно отправи-

лась на генеральные переговоры о будущем бытоустройстве.

— Неужели? Впрочем, в этот день мне всегда везло, во всяком случае раз в десяток лет наверняка. Конечно, гораздо лучше провести часок в задумчивой беседе под теплой крышей, чем на этих неудобных улицах. Но придется вернуться на вокзал.

— Зачем?

— Запастись кое-чем.

— Не нужно. У меня есть.

— Но это же не по правилам, чтобы угощали именинника. И потом, вдруг я скажу вам что-нибудь неприятное? Это будет нечестно: пить вашу водку и говорить вам что-то неприятное.

Было видно, что выпил он не немножко, хотя шел ровно, только тяжеловато, с усилием.

— А вы собрались говорить мне неприятное?

— Пьяный всего может наговорить.

«Пусть выложит все, что думает. Так будет легче», — подумал я.

— Не такой уж вы пьяный.

Я сказал это нарочно, даже со зла, наверное, но Андрей неожиданно согласился:

— Да, валяю дурака, простите. Это некрасиво. Простите. — И пошел рядом, насупившись. — Я как-то не умею разговаривать, когда это нужно... Не нахожу тона, что ли. Даже водка не помогает.

Мы стояли уже на пороге моего дома. Я снял с гвоздика за окном ключ и отпер висячий замок.

— Сейчас зажгу свет, подождите минутку. Ступак вошел в мою комнату и огляделся:

— Так, значит, живете? Ничего, недурственно.

— А разве я жалуюсь?

Он не ответил. Я собрал со стола книжки, тетради и постелил газету. У меня в самом деле было что выпить. Бутылку эту я купил к какому-то празднику, но пьяницы мы с хозяйкой оказались неважные и бутылка застряла в буфете. Кроме водки, нашлись консервы, сало, кислая капуста. Когда я наполнил тарелки, Ступак улыбнулся:

— Отличная закуска. Можно сказать, мечта интеллигентного пьяницы...

Сейчас Андрей казался не пьяным, только глаза были такими же, как в тот вечер, очень ясными и немного отсутствующими. Он неторопливо ковырял вилкой сургуч на головке, освобождая картонную пробку.

— Как тут не излить душу? Боюсь только, что вам не все будет понятно. Есть вещи, которые трудно понимать умом. Раньше считалось, что умом можно понять все, даже существовало соответствующее направление — рационализм. А наш век внес поправки. Обнаружилось, что некоторые вещи можно понять только шкурой, причем драной. Неплохое дополнение к философии, правда? Шкура как орган познания окружающего мира. Железный материализм, между прочим.

Я слушал и ждал. Мне хотелось поскорее выпить, чтобы легче было услышать то, ради чего он нашел меня. Наконец Андрей вытащил пробку и разлил водку по рюмкам.

— Значит, вы именинник?

— Без сомнения. Сегодня мне ровно три-

дцать три года. Возраст Христа, между прочим. Претерпевшего...

А я-то держал его за сорокалетнего!

— А вам, Коля?

— Двадцать три.

Он протянул ко мне стопку. Мы чокнулись.

— Двадцать три мне было десять лет назад. В этот день я решил бежать из плена. Вы знали, что я был в плену?

— Знал.

— Да, довелось. В сорок втором, на Дону. Мы спрятались в пшеничном поле, там больше негде прятаться. Но они подожгли его, пришлось вылезать.

Андрей сбросил с одного плеча пиджак и закатил рукав. Я увидел татуировку, почти обыкновенную синюю наколку. Только вместо «Веры» или «Любы» стояло несколько четко воспроизведенных цифр.

Он опустил рукав.

— Это меня пометили уже потом, когда я второй раз попался. А тогда, в день рождения, нас четверо бежало. Из вагона, на ходу. Напильником распилили колючую проволоку на окне, из обмоток сделали петлю. И ждали, когда поезд замедлит ход. Я сидел и считал, сколько же я прожил на этом свете. С високосными годами получилось восемь тысяч четыреста один день. Не так уж мало. И еще я вспоминал, что когда-то давно, сто лет назад, до войны, составил план своей жизни. По этому плану в двадцать три года я должен был закончить университет и написать первую серьезную научную работу... А вышло-то совсем даже наоборот. В армию меня студентом взяли, когда началась финская война. Зима была лю-

тая, многие обмораживались. Но я отклоняюсь... Прыгал я третьим. Что с первыми двумя стало, не знаю до сих пор. Когда они прыгнули, поезд пошел быстрее, и они остались километрах в пяти. Я вылез в окошко ногами вперед, нащупал петлю, повис — ноги в петле, руками держусь за окно. Четвертый торопит: «Давай быстрее!» Внизу не видно ничего, раз — и через голову по насыпи. Потерял сознание, но не от боли, а от волнения, на несколько секунд. Очнулся — лежу в траве. Поезда не слышно. Попробовал одну руку — ничего, вторую — тоже, подогнул, разогнул ноги — нормально. Встал — стою. Снова сел и заплакал... С год партизанил в Белоруссии, а потом попался, причем по глупому, в облаве в Пинске, там у нас явка была. Тогда меня и пометили. Отправили в Лотарингию, на шахты. Ну, оттуда мы с двумя французами ушли. С ними и провоевал до конца...

Ступак снова разлил водку и наколол на вилку кусочек сала, но есть не стал, а так, только приготовился закусить.

Я ждал, что он расскажет о Франции.

— Вы там получили орден?

— Да, небольшой такой крестик.

Я поднял свою рюмку.

Андрей кивнул мне и выпил, без удовольствия, механически и так же механически разжевал сало.

— Когда все кончилось, не верилось, что можно больше не стрелять. Ночью я просыпался, смотрел на свой номер на руке, и мне казалось, что это все во сне. По плану жизни в сорок шестом я должен был защитить диссертацию, а я только вернулся в институт, да еще с



полупустой головой. Пришлось заниматься часами по восемнадцать в сутки. Я глотал книжки, не вылезал из лаборатории... и все зря. Как-то у нас были выборы в профком, обыкновенный студенческий профком. Ребята выдвинули мою кандидатуру. Я хотел дать самоотвод, но не успел. Поднялся человек, тоже, между прочим, фронтовик, тоже физик. Он одернул гимнастерку и сказал, что профком — это ответственный орган и избирать туда нужно людей проверенных, которые оправдывают, а Ступак был в плену, и неизвестно... Договорить ему не дали, ребята зашумели. Тогда вмешался декан, молодой еще, кандидат наук. Декан был удивлен: «Разве мало среди нас хороших студентов? Зачем же поднимать такой ажиотаж вокруг кандидатуры Ступака?» Он сказал: «Нездоровый ажиотаж» — и подчеркнул слово «нездоровый» так значительно, что шум затих, и многие сразу осознали, что шуметь не следовало. Многие сразу... — повторил Андрей, как бы завидуя этим сообразительным молодым людям, — а я вот не сразу... Ведь это трудно понять, что ты виноват в том, что, расстреляв все патроны, не решился сгореть заживо в донской степи, в том, что тебя клеймили и травили собаками, в том, что каждый день жил рядом со смертью, хоронил товарищей, мечтал о куске черного хлеба. Как понять, что синий номерок на руке превратил тебя в глазах осторожных людей в человека второго сорта?! Впрочем, я уже не говорю, а декламирую... Короче, я долго не понимал всего этого и окончательно понял только тогда, когда мой научный руководитель, ученый с крупным именем, сказал мне, беспомощно разводя руками: «По-

верьте, коллега, я сделал все, что мог. Я и сейчас твердо убежден, что на курсе нет лучшего кандидата в аспирантуру, чем вы, но...» Он смотрел на меня таким взглядом, что мне стало его жалко больше, чем себя. Вот так, Коля... Вы не обижаетесь, что я называю вас просто по имени?

— Нет.

— Вы сейчас не во всем верите мне, считаете, что я преувеличиваю, но я рассказываю только о том, что пережил. А пережил я крепко. Под пулеметами в бою, на каторге надеялся, жить хотел, а тут расхотелось. Ведь самоучкой физиком не станешь... Спасла меня Светлана, это я вам и хочу сказать.

Впервые за весь вечер Андрей поднял глаза и посмотрел прямо на меня. Мне показалось, что он совсем трезв, — то ли от своего рассказа, то ли от этих двух выпитых рюмок. Глаза его смотрели, как всегда, умно и грустно.

— Она нянчилась со мной, как с ребенком. То по-учительски строго доказывала, что ничего не случилось, что я обязан жить и работать, как все. То уговаривала: «Я все понимаю, но не нужно. Ради меня не нужно...» Конечно, всего она понять не могла, и никто не может, кто не знает, что такое физика. Физика — это единственная штука в мире, где нет невозможного, Коля. А вы, наверно, даже об Эйнштейне толком не знаете! И Светлана не знала. Она просто заявила мне: «На той неделе регистрируемся. Я уже девчонок позвала!..» Пришлось жить... За жизнь, Коля! Какой-то древний мудрец сказал, что живая собака лучше мертвого льва, и этим очень подбодрил... не только собак.

Мы выпили еще по рюмке.

— Работали мы первый год не здесь, а в городе, где заканчивали университет. Нашлось два места. Профессор мой помог. Я там кое с кем и схлестнулся. Не на педагогической почве, нет. Просто строили для школы новое здание, и они тянули все, что можно было и что нельзя. Я написал в прокуратуру. Вызвали меня для объяснений в другое место. Потом еще. Подолгу беседовали, расспрашивали. Вызывали обычно к вечеру, время мое рабочее берегли, а отпускали поздно, иногда почти под утро. Когда я возвращался, Светлану нельзя было узнать — лица на ней не было.

Наконец человек, который вел со мной длинные разговоры, сказал: «Ну, Ступак, ваше дело проясняется. Мы навели справки, отзывы о вас неплохие...» Этой ночью мы вышли из управления вместе. На улице, прежде чем свернуть в свою сторону, он протянул мне руку и посоветовал: «Я бы на вашем месте поехал поработать на периферию. Там воздух лучше, нервы у людей крепче...»

Так я и очутился здесь, в этом прелестном городке, откуда бежал четырнадцать лет назад, чтобы прославить науку и себя, разумеется. Но, как видите, граф Монте-Кристо из меня не вышел. Эйнштейн — тоже.

Я заметил, как глаза Андрея опять теряют осмысленность. Водка все-таки одолевала его.

— И все-таки живая собака лучше. А сколько таких, как я... Знаешь, сколько из нашего класса погибло? Трое осталось. Один без ног... Так-то, Коля, который ничего не знает и пре-

зирает... А ты не презирай! Ты хлебни сначала...

Ступак взял со стола рюмку и захватил ее всю в свою большую ладонь. Рюмка исчезла у него в кулаке, и я подумал, что он может раздавить ее и поранить руку. Сейчас он несомненно был снова очень пьян.

— Я нахлебался, и с меня хватит. На мне жизнь не кончается. Даже физика без меня не пропадет. А сыну я нужен. Понимаешь? Да что ты можешь понять, непуганый ты со-сунок!..

Я не обиделся на него. Я, как загипнотизированный, смотрел на рюмку, зажатую в кулаке, и ждал. А он держался за эту рюмку, как за дверную ручку, и покачивался на стуле.

— И я пережил страх, много страха, и мне плевать, что обо мне думают... Плевать. Я хочу одного. Построить свой дом и жить в нем с женой и сыном. И я не полезу в драку с этим Троицким и со всей его шайкой, сколько бы вы ни презирали меня. Вы оба. Ты и она. Понял — ты и...

Хррк! Рюмка треснула наконец, но удачно. Ступак не порезался, а только удивился. Он посмотрел на нее с недоумением, потом посмотрел на меня, и я снова с удивлением увидел, как меняются его глаза.

— Извини!

— Ерунда. Я сейчас возьму другую.

Когда я принес новую стопку, он сидел уже почти трезвый. Все-таки поразительно, как боролся с водкой его организм. Я так никогда не мог. Я мог быть или пьяным, или трезвым, а он мог трезветь, продолжая пить, и пьянеть снова.

— О чем я говорил, Коля?

— Вы говорили, что я презираю вас. Но это неправда.

— Да, ты и Светлана.

Он потянулся к капусте, не взял ее и положил вилку на край тарелки. Заговорил трезво и просто:

— Ей трудно со мной, трудно с моей неудачливой судьбой, с моим тяжелым, вымученным характером, с моими пьянками. Я дал ей в жизни гораздо меньше, чем она мне, и гораздо меньше, чем она заслужила. Конечно, невыносимо терпеть это из года в год. Но она нужна мне. У нас ребенок. Кроме семьи, у меня никого нет. Нету. И мне нужно сохранить ее. Ведь любовь, Коля, вроде железа. Под ударами держится, а сырости боится. Каждодневной ржавчины. Новая балка этажи держит, а проржавеет и — все! На вид еще крепкая, но на прочность лучше уже не испытывать. Один лишний килограмм может решить дело.— И Ступак закончил свою мысль четко и негромко: — Ты можешь стать этим килограммом, Николай.

Мне показалось, что я чувствую его боль и его унижение. И мне стало нестерпимо стыдно и захотелось сделать все, что только в моих силах, чтобы помочь этому большому и беспомощному сейчас человеку.

— Поверьте, Андрей Павлович, я глубоко уважаю вас обоих..

Он махнул рукой:

— Я знаю, Коля, знаю. Ты из порядочных. Иначе я не сидел бы здесь с тобой. У меня еще хватит силенок отвинтить голову мерзавцу. Ты не такой... И Светлане я верю. Но

жизнь есть жизнь. Не все зависит от наших добрых намерений... Она часто говорит о тебе, много думает... Это понятно. У нее не ладится со мной, а ты парень умный, честный, интересный. Не красней, это же обыкновенные человеческие качества...

Андрей замолчал, но я видел, что он сказал не все.

— Вот что. Разлей-ка, что там осталось, по последней. Мне нужно спросить у тебя еще одну штуку, очень трудную.

Мы допили водку.

— Прости меня, Коля. Но... она тебе тоже нравится?

— Да.

— Я так и думал. И знаешь что? Уезжай. Уезжай потому, что другого выхода нет.

Ступак сказал это, не требуя и не прося. Сказал то, что было фактом. И я не мог не согласиться с ним.

— Я знаю. Я уже решил. Я уеду.

И мы еще раз посмотрели друг на друга. Хорошо и честно.

Андрей встал:

— Спасибо, Коля. И не падай духом. У тебя еще все впереди. А теперь я пойду. Пора. Водку выпили, все сказали. Болтать просто так ни к чему. Держи.

Он протянул мне руку, и я пожал ее.

— Будь здоров и не обижайся на меня.

На крыльце я заметил, как опять хмелеют его глаза. Наверно, нервный заряд, которым он держался во время этого трудного разговора, иссяк. Андрей шагнул по ступенькам вниз, покачнулся, остановился, собрался с силами и двинулся в темноту.



Итак, все стало на места. Теперь я точно знал, что уехать необходимо. Два часа назад отъезд еще казался мне бегством, капитуляцией, но сейчас он приобретал смысл, мог принести какую-то пользу. И от этого было легче. Спать не хотелось. Я надел пальто и вышел на улицу.

Ночь была лунная. По небу стайками бежали белые барашки облаков, но казалось, что они застыли неподвижно, а луна проваливается сквозь них, падает и никак не может упасть на землю. Я вспомнил, как Андрей подсчитывал в вагоне прожитые дни, и невольно прикинул, сколько же дней провел я в Дождь-городке. Оказалось, суцая чепуха, а случилось за это время так много, что хватило бы на годы! И все-таки быстро оно промчалось, пробежало, по своим непонятным законам, с каждым днем набирая скорость.

Это напоминает прохождение на вокзале. Сначала ты украдкой поглядываешь на часы, сколько осталось до последнего звонка, и радуешься, что осталось немного. «Наконец-то!» — думаешь с облегчением, услышав гудок. А поезд еще стоит, и все недоуменно пожимают плечами. Но вот он трогается почти незаметно, и ты сначала идешь рядом, даже немножко обгоняя поезд. А он движется все быстрее и быстрее, и за ним уже не поспеть, даже ускорив шаг, даже бегом, и, наконец, скрывается за семафором, а ты оставаешься запыхавшись, и все кончается. Все, что было, уже никогда не повторится. И как вчера ушла Вика, так завтра уйдут Андрей и Светлана, а я буду

стоять где-то на новой станции или полустанке, провожая других людей, пока не придет последний поезд.

Может быть, случайно, а может быть, подсознательно, подчинясь влиянию «железнодорожных» размышлений, я вышел к вокзалу. Там, как всегда, суетились люди, и старенький, вовсе не символический поезд дожидался своей очереди отправиться до ближайшей станции. Народ, нажимая на проводников, размахивал билетами у вагонов, и никто не жалел, что минуты эти больше не повторятся. Вернувшись к жизненной действительности, я неожиданно почувствовал желание поеть. Водка и морозный воздух вызвали аппетит.

К счастью, а может быть наоборот, ресторан еще не закрыли. Можно было поужинать, не оглядываясь по сторонам. Было слишком поздно, чтобы здесь могли оказаться мои знакомые, да и знакомых бояться уже не стоило.

Я вошел в зал и сел за один из свободных столиков. Он показался мне экзотическим: стоял под большой пальмой, а над ней, как далекое созвездие в кольцах Млечного Пути, висела в клубах табачного дыма бронзовая люстра.

«Вот и помечтай здесь, Коля, о будущем, о дальних странах. Они ждут тебя. Может быть, ты и не уедешь на Чукотку или в Якутию, но ты можешь поехать туда. А ведь это самое главное для человека — иметь возможность. Это то, чего нет у Андрея, чего уже нет у Вики и у многих других людей. А у тебя есть, сегодня еще есть та тревожная свобода, когда ты хозяин своей жизни, что бы там ни вычерчивал проклятый мальчишка. Ты сегодня



еще счастливый человек, Коля, так пользуйся же этим и ни о чем не скорби и не жалея. Даже о Светлане. Андрей сказал правильно: у тебя все впереди!»

С этими мыслями смотрел я в меню и выбрал коньяк, балык и бифштекс — ужин мужчины, принявшего важное решение. Официант записал заказ в блокнот, и я стал ждать, вытянув ноги под столом.

Я хотел подвести какой-то итог тому, что случилось со мной в этом дождливом городке, но чем больше старался, тем труднее становилось итожить. Все зависело от того, как смотреть на вещи. Получалось два противоположных изображения: негатив и позитив.

Позитив выглядел приблизительно так: молодой способный учитель приезжает в маленький провинциальный городок. Учитель честен и благороден, поэтому его невзлюбили и всячески выживают местные бюрократы. Зато его полюбила красивая женщина с необычной судьбой. Он возбуждает чувство даже у жены друга, верной матери и супруги, и в конце концов уезжает из городка, чтобы сберечь семейный очаг.

На негативе все было наоборот. Желторотый, неопытный юнец приехал в город, который жил и живет своей жизнью, по своим законам. У юнца есть добрые намерения, но нет воли к борьбе за свои убеждения, и школьные бюрократы без особых трудов ставят его на свое место. От скуки ему действительно отдалась интересная женщина, но бросила его немедленно, как только представилась возможность устроить свою жизнь. После ее отъезда юнец начал морочить голову жене приятеля, и тот

был вынужден предложить ему убираться из города подобру-поздорову, чему неудачливый герой даже обрадовался, по причине общей ничемности.

Да, негатив получался уж слишком негативным! И хотя я понимал, что истина где-то между полюсами, зафиксировать ее было трудно. Не могла же она быть точно посередине. Наверно, тянулась к какому-нибудь краю! Но к какому?

Официант принес коньяк, нарзан и закуску. Коньяк показался мне противным, и я не стал тянуть его по рюмкам, а сразу вылил в стакан и запил теплым невкусным нарзаном. Потом принялся перетирать тупым ножом кусок балыка.

Наблюдавший за мной из угла официант появился за спиной и протянул руку к пустому графинчику:

— Можно забрать?

Я услышал явный подтекст: «Привести еще?» — но не откликнулся. С тем, что мы выпили со Ступаком, получалось и так многовато. Собственно, мне ни разу еще не приходилось столько пить.

— Да, заберите. И бифштекс, пожалуйста.

Он ушел с графинчиком, а я снова взялся за резиновый балык. Теперь уже в моем настойчивом стремлении разодрать это на кусочки преобладало пьяное упорство.

— Н... не помешаю?

Я поднял глаза и увидел человека средних лет в кожаном пальто и меховой шапке. Он уже отодвинул стул, так что отвечать не имело смысла. Я просто пожал плечами, и он крепко придавил стул тяжелым телом,

Это был человек из тех, о ком мало что можно узнать из анкет и гораздо больше за столиком в ресторане. Эти уверенно шагающие по земле «новые люди» с нагловатыми глазами обладают высшим из искусств — «умением жить», они стоят в очереди за машиной вместе с ученым и пьют водку с маляром, который расписывает под шелк и золото их новые квартиры, пьют, презирая одинаково и того и другого.

Обычно им редко дашь меньше сорока, хотя встречаются и помоложе, конечно. Но они всегда выглядят старше, потому что не занимаются ни физическим трудом, ни спортом, зато много едят и пьют, ведь без выпивки для них невозможны не только радость жизни, но и деловая активность, так сказать, весь «модус вивенди». Насухую больших денег не наживешь. Однако за успехи приходится платить здоровьем. Сначала печень разменивается, а там и сердчишко в оборот пошло. Годам к пятидесяти, когда кажется, что собрано больше, чем убавилось, и подпольный капитал надежно распределен между сберкассами и кубышкой, эти люди начинают обзаводиться личной профессурой и переходят на минеральную воду, но тот, что сел за мой столик, судя по огненному цвету лица, находился еще в хорошей форме.

Он был уже изрядно пьян. Причем пьян не по деловым соображениям, а так, от души. Его красная физиономия светилась, и было сразу видно, что человек этот доволен собой и своей жизнью, и тем, что сидит за столиком здесь, в ресторане на вокзале, где его никто не знает, и он может еще пить, не опасаясь, что за ним присматривают и прикидывают его рас-

ходы, сопоставляя их с более чем умеренным официальным заработком, и, наконец, тем, что ему попался никчемный интеллигент, над которым можно покуражиться, похвастаться и еще раз убедить самого себя в том, что все это образование — тьфу! — и только дураки тратят время, чтобы сидеть за книжками, когда, имея голову на плечах, можно жить без книжек лучше и веселее, чем с книжками. Конечно, я представлял для него идеальную добычу. Не нужно было иметь много извилин, чтобы догадаться, что я принадлежу к примитивной части человечества, живущей на зарплату. Однако настроен он был благодушно и не прочь был даже бескорыстно поделиться мудростью, которой, на его взгляд, мне так не хватало.

Все это я понял, едва он навалился локтями на стол и рассмотрел веселым пьяным взглядом мою бутылку с остатками нарзана.

— Суховато ужинаем, молодой человек!

Я не стал возражать. С каждой минутой я чувствовал, что пьянею все больше, и не ощущал обычной интеллигентской скованности. «Может быть, это современный Корейко, — думал я. — Наверно, он пришел сюда в камеру хранения за чемоданом с миллионами». Мне было интересно посидеть и поразговаривать с подпольным миллионером. Ведь я-то знал, что у меня никогда в жизни не будет чемодана с деньгами.

А миллионер тем временем заказал шампанское и еще что-то, что обычно едят и пьют малокультурные миллионеры, кажется, селедку и шашлык.

Покончив с этим важным делом, он смог

вернуться к светски непринужденному философскому разговору.

— Хорошее дело — шампанское! Я его как отрезвляющее употребляю. Очень помогает.

— Это кому как, — отозвался я вежливо. — От организма зависит.

— За мой организм не беспокойся. Как часы работает.

Я не мог отказать себе в небольшом удовольствии.

— Странно. А мне вы не показались здоровым человеком.

Он глянул на меня с обидой, так что я почти устыдился своей жестокости. В самом деле, человек к тебе всей душой, а ты его по мозгам. Такое и бедняку неприятно, а тут богач! И он спросил с наивной прямолинейностью:

— А ты откуда знаешь? Ты доктор, что ли? Мне захотелось его утешить:

— Нет, я не доктор.

Он сразу успокоился.

— Вот видишь! А говоришь! Про здоровье так нельзя. Это штука тонкая, на глазок не определишь! Тут исследовать нужно, анализы разные...

— Кровь, моча, рентген?

— Вот-вот! А ты — не показались... Так нельзя! У меня, брат, здоровье то еще! За него не робей. Рабочая закваска.

— Вы, значит, рабочий?

Зал уже кружился немного, но мозги еще работали, и я ловил его без труда.

— Не в названии дело. А в голове. Чтоб соображала. Понял, а?

— Нет,

— Эх ты... Нужно, чтоб голова соображала. Где копейка неприкрытая лежит.

— И соображает?

— А то как же! Кормимся помаленьку.

«Какой скромный человек!» — подумал я.

— И неплохо кормитесь?

— На хлеб с маслом хватает.

— Это хорошо.

— А ты небось на зарплате сидишь?

Признаваться было стыдно, но что я мог сделать?

— На зарплате.

— А знаешь, как в Одессе врагам желают? Чтоб тебе жить на зарплату!

И он захохотал от души, довольный собой. Да, я упустил инициативу.

— Где ж ты работаешь?

— Я учитель.

— Учитель?!

Конечно, с его точки зрения невозможно было избрать более убогого занятия.

— Детей учишь?

— Детей.

— Сколько ж тебе платят?

— На хлеб хватает...

Сказать «с маслом» я постеснялся.

— На хлеб! «Сухой бы я корочкой питался...» Эх ты... Молодой парень!

Он от души соболезновал моему бедственному положению.

— Слушай, а чего ты с этим делом связался, а?

— С как-ким? — спросил я. Зал все быстрее плыл у меня перед глазами.

— Да с детворой этой.

— Ттак... учили меня...

— Ну и плюнь! Плюнь, и все! И мотай отсюда, пока не поздно. Мотай в город. Найдешь занятие, будешь как человек жить.

Так. Значит, и этот советует мне уехать. И этот меня учит. Я попробовал пересчитать всех, кто выпроваживал меня из Дождь-городка: директор, Вика, Андрей... Не слишком ли много? Почему я им всем помешал? И почему я должен их всех слушать? Или хотя бы просто выслушивать? Почему они все заодно? Может, сговорились? Может, этого барыгу подослал Троицкий?

— Вы не знаете Троицкого?

— Какого Троицкого?

— Не Троицкого, а Троицкого. Троицкий был враг народа. Его все знают. А Троицкий наоборот. Такой благородный, почтенный старик...

Он смотрел на меня косо.

— Не знаю я никакого Троицкого.

— Не знаете? А я думал, что знаете. А как доставать много денег, вы знаете?

— Головой для этого думать нужно.

Интересно. По его мнению, он думает головой, а я нет. И по мнению Троицкого тоже, я, конечно, набитый дурак. И оба они учат меня жить.

— Так вы не знаете Троицкого?

— Совсем ты окосел! Сейчас шампанского принесут. Хлебнешь — полегчает.

— Я совсем не пьян. Вы мне лучше скажите, вы где учились?

— Жизнь меня учила.

Он уже смотрел на меня почти с ненавистью. Попался же собеседничек!

А я соображал пьяно, медленно, неповоротливо. Значит, жизнь. И его и Троицкого

выучила жизнь. Я никак не мог разорвать их, хотя и было непонятно, почему они крутятся в моей голове вместе. Ничего общего. Совсем ничего. Только обоим им хорошо. И оба довольны. А вот меня жизнь учит, учит, а я ничему не научился. А чему научился этот человек? Как же он умудряется жить и благоденствовать, когда тысячи троицких ежедневно твердят о честности и принципиальности. А он живет, и все. Почему Троицкий мне мешает, а ему нет? Почему он ворует, хотя все вокруг уверяют, что это плохо?

Я уставился на него безнадежно любопытным взглядом и пытался представить рядом директора. Сначала ничего не получалось. Уж слишком они были разные. Этот — красномордый, толстогубый, нос картошкой. А тот — узколицый, бледный, с желтыми тонкими губами. Два лица медленно кружились у меня перед глазами, наплывали одно на другое, расходились, снова наплывали, и вдруг что-то в них совпало. Неожиданно и на секунду, но я уже увидел, что совпало. Кажется, глаза, маленькие глазки. Ну да, одинаковые пороссячьи глазки — и у директора, и у него. Лица снова разошлись, но я уже не боялся, что они ускользнут. Да они и не думали ускользать. Они, напротив, стали двоиться, и каждое делилось на новые, разные. И — удивительное дело! — я узнавал почти каждое из них, хотя были и такие, которых я никогда раньше не видел. Зато знал. Всех знал: и Троицкого, чьи редкие седые волосы казались сейчас обыкновенной щетиной, и физиономию завуча, вытянутую наподобие кувшинного рыла, и Прасковью, с самоуверенно отвисшей нижней губой, и тех, других, что



видел впервые. Это был и Викин отчим со своей говорящей фамилией — я узнал его сразу — и еще кто-то незнакомый... Ах да, это ж тот самый студент-физик, который считал Андрея непроверенным, и еще кто-то, Бандура, кажется... Лица наплывали, приближались. Они больше не двоились, а, наоборот, собирались все вместе, теряя последнее человеческое, что еще было в них заметно, и сливаясь в одну свиную морду...

И тут раздалось «бах!». Это официант раскупорил шампанское.

Свиная морда наклонилась ко мне и захрюкала, протягивая бокал с шампанским. Я протянул руку навстречу, но промахнулся и схватился не за бокал, а за бутылку. Морда с непонятным бормотанием потянула бутылку к себе.

— Ни-нет, не отдам! — сказал я и услышал свой голос откуда-то издалека.

Я перехватил руку и взял бутылку за горлышко. Морда отшатнулась и прыгнула куда-то вверх. Я тоже поднялся, как мне казалось, твердо, уверенно.

Не отдам! Хватит! Я и так уступал слишком много, всем уступал. Но на этот раз хватит. Нужно начинать сопротивляться, и я начну, сейчас, здесь.

Я оторвал бутылку от стола. Шампанское потекло в рукав, и ощущение этого холодного, мокрого в рукаве было последним, что я запомнил. Остальное я узнал позже.

Выглядело это приблизительно так. Я хотел ударить его по голове. Он успел отшатнуться и свалился на спину, опрокинув стул. Пока я шел вокруг стола, чтобы снова ударить, ко мне ринулись двое официантов...



Через два дня вечером я сидел, накинув на плечи пальто, в нетопленной комнате и составлял письмо хозяйке. Именно составлял, потому что писать его было очень трудно.

«Дорогая Евдокия Ивановна!

Мне очень обидно, что я должен уехать, не простившись с вами, но так даже лучше. Вам расскажут, как я тут набезобразничал. Из школы пришлось уйти...»

Я хотел добавить «с треском», но подумал, что треску-то, собственно, никакого не было, если, конечно, не считать треска в моей голове, когда я проснулся на дощатых нарах и увидел под потолком решетку в маленьком, давно не мытом окошке.

По правде, я здорово перетрусил. Мне пришло в голову, что я убил красномордого. Но все разъяснилось довольно быстро. Разъяснил начальник милиции. Это был добродушного вида пожилой человек, каким и должен быть блюститель порядка в городке, где никто никого не убивает и даже воруют редко и неохотно.

Когда меня ввели, он вздохнул и во время всего разговора смотрел печальным, укоризненным взглядом. Я же старался на него не смотреть.

Начальник пожурил меня с болью в сердце и, почти извиняясь, сообщил, что вынужден был позвонить Троицкому. Я не мог обижаться на человека, выполнявшего свой долг, да и смешно было бы надеяться скрыть все это в крошечном Дождь-городке. Напоследок он сказал, что я должен уплатить двадцать три руб-

ля за разбитую посуду. Я заплатил и немедленно был выпущен на волю.

Прощаясь, начальник милиции оглядел мою жалкую, понурую фигуру, выражавшую полное и чистосердечное раскаяние, и произнес с недоумением:

— Ну как же это вы? Ведь учитель!

Измятый и измученный, с отвратительно тяжелой, неповоротливой головой, шел я в школу, смутно соображая, как появлюсь в таком состоянии на уроке. Думать о предстоящем у меня просто не было сил.

Зато Тарас Федорович, как видно, не мог думать ни о чем другом. На его беду, я чувствовал себя настолько скверно, что не мог оценить этого полного торжества. Больше того, первое, что он сказал, только обрадовало меня.

— Можете не торопиться,— заявил он высокомерным тоном.— Борис Матвеевич дал указание к урокам вас не допускать.

Я почувствовал страшное успокоение. Уткнуться головой в подушку — это было все, о чем я мечтал.

— Завтра с утра явитесь к директору!

— Почему завтра? — спросил я неизвестно зачем.

— Потому что в таком виде он с вами разговаривать не желает.

Мне удалось сообразить, что слова «в таком виде» относятся ко мне.

— Ладно, приду.

— Докатились...

Слушать нотации было не в состоянии. Я молча повернулся и пошел домой.

Дома я залез в холодную постель, накрыл-

ся сверх одеяла зимним пальто и перестал обо всем думать...

Утром собственное положение представилось мне очень ясным и наконец-то несложным. Я был разгромлен, взят в плен и должен был предстать перед трибуналом. Независимо от того, какие формы он примет — педсовета или месткома, — приговор несомненен: виновен и не заслуживает снисхождения. Оставалось одно — встретить приговор достойно.

Поэтому я тщательно побрился, умылся ледяной водой и, почти полностью восстановив потерянный облик, направился к Троицкому. На пороге кабинета я отметил, что волнуюсь меньше, чем в тот день, в августе, когда впервые взялся за ручку этой двери.

И все-таки ему удалось еще один, последний, раз удивить меня. Я ждал от директора чего-то триумфального, затмевающего простодушное ликование Тараса Федоровича. Но я лишний раз убедился, что Троицкий не зря руководит образцовой школой.

— Садитесь! — показал он мне рукой на стул.

Я сел и посмотрел на него. Передо мной сидел сухой, деловитый, немного усталый человек, вовсе не похожий на ту свинью, какой представлялся он мне в ресторане. Ни следа торжества не заметил я на его лице. Скорее, на нем была досада. «Я давно знал, чем все кончится, а ты, дурак, тянул, выкаблучивался и портил нервы и мне и себе!» Было видно, что теперь, когда неприятная история осталась наконец позади, он не испытывал ничего, кроме сожаления о потраченном времени и силах.

И не хотел тратить на меня больше ни одной лишней минуты.

— Вы понимаете, что вам нельзя оставаться в нашей школе? Обо всем, что случилось, знает уже весь город. Милиция собиралась возбуждать уголовное дело, но я отстоял вас. — Он брезгливо махнул желтой рукой, как бы отгоняя возможные подозрения в сочувствии. — Не ради вас, а ради школы. Мне такое пятно не нужно! Вы меня понимаете?

— Да, конечно.

— Тогда пишите заявление.

— Когда?

— Сейчас.

Троицкий подвинул ко мне бумагу.

Слаб все-таки человек: я ощутил радость, поняв, что публичного судилища не будет.

— Что писать?

— Обыкновенно: «Прошу освободить от работы...»

— А как сформулировать причину?

Он посмотрел на меня в упор и продиктовал, тщательно выговаривая слово за словом:

— «... освободить от работы по собственному желанию в связи с домашними обстоятельствами». Ведь у вас мать больна?

— Да, болеет.

— Вот и пишите.

— С какого числа писать?

— Со вчерашнего.

Я вывел дату, поставил внизу свою фамилию и подал ему листок.

Троицкий бегло глянул на заявление поверх очков и написал что-то в левом углу. Потом открыл ящик стола и достал трудовую книжку

с вложенной туда свернутой в четыре раза бумажкой.

Да, он точно рассчитал меру моего упорства, подписав книжку еще до разговора со мной. Что ж, некоторым вещам у него можно было поучиться.

— Прощайте, Николай Сергеевич. Желаю вам удачи на новом месте.

Руку он мне не протянул, и я мысленно поблагодарил его за это. Ведь по интеллигентской слабости я мог и пожалеть ее!

Я вышел в коридор, сунув книжку в карман. Совсем рядом был мой, нет, не мой уже класс, в который мне никогда больше не войти. Конечно, не стоило ждать перемены и устраивать слезоточивых прощаний. Я только подошел к стеклянной двери. Ребята слушали другого учителя. Вернее, одни слушали, другие, как обычно, занимались чем-то своим. На дверь никто не смотрел. Я тихо отошел. Мне было горько. Вспомнят ли они меня добрым словом? Дал я им что-то или останусь мимолетным незначительным воспоминанием, эпизодом в жизни подростков, которые вот-вот станут взрослыми и которых ждут свои радости и разочарования? Этого мне никогда не узнать...

Дома я открыл трудовую книжку. Там не оказалось ничего нового, повторялась уже известная мне формулировка — «по собственному желанию». Зато вложенную в книжку бумагу я перечитал раза три. Это была служебная характеристика. В ней говорилось, что Николай Сергеевич Крылов — хороший педагог, идейно выдержан и пользуется заслуженным авторите-

том у преподавателей и учащихся. Внизу стояла подпись: «Директор школы Б. Троицкий». Подписано было разборчиво и крупно, не сомневающейся рукой.

Потому в письме к хозяйке я и не стал писать «с треском». Я написал:

«... из школы пришлось уйти и уезжать немедленно. Дождаться вас не могу. Но я хочу сказать, что вы были мне самым близким и родным человеком, и я вам благодарен, как матери, за заботу. Я обязательно напишу вам из дому...»

Еще я собирался написать, где оставляю деньги, которые задолжал за полмесяца, и что купил ей в подарок вязаный платок и он лежит в ящике гардероба, но не успел.

Кто-то постучал.

«Наверно, соседка!» — подумал я и, сбросив пальто на стул, пошел открывать. В дверях стояла невысокая женщина в стеганке. В темноте я не сразу разглядел ее лицо, прикрытое краем полушалка.

— Николай Сергеевич!

Сказала она это, преодолевая одышку, как бывает от быстрой ходьбы, не своим голосом, но я сразу подался вперед.

— Светлана Васильевна?

— Да, я, можно к вам?

— Конечно, конечно, пожалуйста...

В комнате она сбросила полушалок, на котором быстро таяли недолговечные южные снежинки. Мне стало стыдно за неподметенный пол, за вещи, разбросанные по кровати и на стульях, за всю свою нетопленную, неуютную комнату.

Но Светлана не заметила холода.

— Жарко,— сказала она и провела пальцами по щекам, стирая капельки растаявшего снега.

— Наоборот, я два дня не топил.

— Но я сниму все-таки эту стеганку.

Она расстегнула несколько пуговиц.

— Да, да...

Я заторопился помочь ей.

— Это не моя фуфайка. Я надела ее, чтобы меня не узнали на улице.

Светлана покраснела.

Я подошел к окну и прикрыл внутреннюю ставню.

— Мне хотелось попрощаться с вами. Я знаю, что вы утром уезжаете. И вы бы не зашли к нам, правда?

Да, я не хотел заходить, вернее, хотел, но запретил себе это. Особенно потому, что я знал: Андрей уехал в область за пособиями и она одна. И конечно же, было противно показываться ей на глаза после скандала.

— Правда. После этой дурацкой драки...

— Не стыдитесь! Я понимаю, у вас слишком наболело. Хотя не нужно было делать этого. Вас могли посадить в тюрьму.

— В самом деле, наболело.

— У меня тоже так бывает... теряешь контроль над собой, но я не могу драться. Я вот только... пришла сюда.

Светлана сказала это без иронии, грустно и серьезно.

У меня заколотилось сердце, и я не нашелся, что ответить.

— А у вас правда холодно.

И зябко повела плечами.



— Я сейчас затоплю печку. Сейчас. Вы же не уйдете так сразу?

— Нет.

— Это очень быстро. И станет тепло.

Печка была в хозяйкиной комнате. Я откинул конфорку и стал торопливо мять и втискивать туда старые газеты. Первая спичка поломалась, но вторая вспыхнула, и по бумаге побежали огоньки. Я схватился за дрова, сложенные на полу.

— Только не эти. Эти слишком большие. Положите сначала помельче.

Светлана смотрела на дубовые чурки в моих руках.

— Да, правда... Нужны щепки.

Она наклонилась и стала выбирать дрова помельче.

— Не нужно, не пачкайтесь.

— Я делаю это каждый день и, наверно, буду делать до конца жизни.

— Все равно, сегодня не нужно.

— Хорошо.

Она взяла маленькую скамеечку, что стояла под столом, и присела возле печки. Я тоже сел, и мы смотрели, как проваливаются в поддувало красные древесные угольки.

— Просто не верится, что вы здесь. Слишком невероятно и ужасно. Ужасно потому, что завтра меня уже здесь не будет...

— Нет, Николай Сергеевич, не ужасно... Даже к лучшему, наверно. Иначе что б мы с вами делали?

В самом деле, что б мы делали? Я вспомнил разговор с Андреем.

— Да, да, это хорошо, что вы уезжаете.

Я взял ее за руку, она была холодная и бессильная,

— Светлана... Вы знаете... знаешь, что я...

— Знаю. Иначе я не пришла бы...

— А ты?.. Ты...

— Иначе я бы не пришла, — повторила она тем же тоном, не отнимая у меня руки.

— Но, может быть, нам лучше быть вместе? Светлана покачала головой.

— Я люблю его... И тебя тоже. Ни за что бы не поверила, что так может быть. Но ему я нужнее. И он Володькин отец. Я должна быть с ними. Мы нужны друг другу. Без меня ему будет хуже. А ты... у тебя жизнь только начинается. Ты еще встретишь другого человека. По-настоящему жизнь можно связать только один раз. Я иначе не могу. Ведь ты не представляешь, как много нам пришлось пережить вместе.

— Представляю. Андрей говорил мне.

— Что говорил?

— Все. Мы долго говорили.

— И обо мне?

— Да.

Она выдернула свою руку из моей.

— Неужели он... просил тебя?..

— Меня не нужно просить, я и сам понимаю. А другому, он сказал, он сломал бы шею. Он очень любит тебя.

Светлана уронила голову на руки.

— Он не должен был просить, не должен. Зачем так унижать себя, зачем? Раньше он был совсем другой — смелый, гордый. А теперь... Он боится вступить за меня, пьет тайком, просит...

— Я виноват перед вами обоими...

— Нет. Ты хороший. С тобой было как-то светлее, интереснее жить. И Андрею было с тобой лучше... Но больше нельзя.

Печка быстро разгоралась — на мороз. Дрова потрескивали, уголь стучал осколками по стеклам короба, от плиты пошло тепло. Светлана сидела, сгорбившись, маленькая и беспомощная. Мы вспоминали, как я приехал, как пришел к ним в первый раз, вспоминали какие-то случаи, людей, слова, говорили о том, что может случиться... Вдруг она спросила:

— А сколько времени?

Времени было уже много, особенно по дождь-городским представлениям. Удивительно, как быстро оно умеет мчаться!

— Пора идти, Коля. Тебе тоже надо еще собраться и выспаться.

— Да, это очень важно, особенно выспаться! Зачем ты сказала это? Просто пора, и все.

— Пора, и все! Принеси мою стеганку, пожалуйста.

Я вышел в свою комнату, взял стеганку и платок. Светлана стояла возле печки и ждала меня. Сначала она повязала платок. Я смотрел на нее и думал отчаянно: «Все. Все! Сейчас и она уйдет, как ушла Вика, навсегда».

— Помоги, Коля...

Я протянул стеганку, но вдруг уронил ее на пол и опустил ладони на худенькие плечи Светланы.

Губы у нее были шершавыми, не привычными целоваться. Она потянулась ко мне одновременно со страхом и решимостью и тут же отступила. Я поднял стеганку...

Через час я с чемоданом шагал по темной улице на вокзал. Узнать Дождь-городок было невозможно. Повсюду громоздились сугробы, свистела метель и несла вихри колючего снега. Но поезд пришел по расписанию...

*С тех пор прошло почти три десятка лет. Выросли и работают люди, которые и не помнят те, далекие уже годы. Но в моей памяти они остались навсегда, частью прожитой жизни.*

*Сначала я старался не думать о горьких днях ошибок и поражений, потом пытался осмыслить, извлечь уроки. Теперь я понимаю, что зря они не прошли; и плохое и хорошее, что было, пригодилось, чтобы жить дальше. Правда, в школу я уже не вернулся — работал сначала в археологической экспедиции, потом поступил в аспирантуру, потом начал преподавать...*

*Быстротекущая жизнь оставляет все меньше времени, не перегруженного текущими занятиями. Самого слова «праздность» мы теперь избегаем, стыдимся, хотя оно, между прочим, одного корня с праздником, предпочитаем говорить «свободное время». Но ведь время само по себе не свободно и не занято. Занят или свободен бывает человек, свободен выбирать очередные занятия, ибо даже отдых стал занятием, своего рода восстановлением сил, а не праздным времяпровождением. Теперь нередко слышишь — и праздник провел в работе! Короче*

говоря, вспоминать и размышлять времени остается все меньше, и постепенно Дождь-городок отодвинулся далеко, гораздо дальше, чем на те километры, что отделяли его от меня все эти годы. Побывать там снова мне не пришлось, переписка тоже не состоялась — хозяйка переехала к дочери, а Ступакам писать сначала было неловко, а потом показалось, что и незачем уже.

Так, оставшись в душе, Дождь-городок ушел из жизни текущей, и, как я думал, навсегда...

Однако жизнь нередко приберегает для нас неожиданности. Такой неожиданностью оказалось для меня письмо с незнакомым обратным адресом и незнакомой фамилией на конверте. С недоумением извлек я из него мелко исписанные листки и фотографию молодой женщины, снятой заметно недавно с двумя маленькими мальчишками, очевидно сыновьями. Лицо женщины кого-то мне напомнило, но не более...

Я начал читать.

«Коля!

Или, может быть, Николай Сергеевич... Не знаю, как обратиться. Представляю, как ты вертишь в руках конверт, не понимая, откуда это письмо — ведь фамилию Алексея ты наверняка забыл, а может быть, и не знал никогда... Но меня, надеюсь, все-таки помнишь, учительницу французского языка, которая постоянно шокировала коллег по маленькой провинциальной школе?..

Решилась тебе написать и не знаю, нужно ли это. Попался мне случайно журнал с твоей статьей, вернее, статьей, подписанной твоей фамилией и инициалами. Ты или не ты? Писать

на деревню бабушке я, конечно, не стала. Связалась с редакцией — мы ведь, бабы, дотошные, — получилось, что ты. Обрадовалась. Впервые, как говорится, старая любовь не ржавеет, а тебя я любила, и потому всегда боялась за тебя, боялась, что сомнет тебя жизнь. Ошиблась, как видишь, и очень рада. Это во-вторых. Достиг, я вижу, ты немало, а так как тебя знаю, то понимаю: достиг прямым путем, как всегда хотел. Рада, Коля, очень. Особенно рада — это в-третьих, — что чувствовала перед тобой вину.

Я тогда считала себя и сильнее, и умнее, и лучше жизнь понимающей, а тебя слабым и неопытным. Что мне было делать? Ты и не представляешь, как я трудно решала, уехать с Алексеем или нет. В конце концов решила — эмансипация эмансипацией, а женщина есть женщина, нуждается в опоре и поддержке, и за Алексеем я как за каменной стеной буду (забегая вперед, скажу, что не ошиблась). А с тобой? Что я тебе дам? Помогу на ноги встать? А если нет? Если только осложню твою жизнь? Я ведь видела, что ты меньше любишь, чем я. Я по живому резала, а ты? Уверена, тебе легче было. Вот и решила камнем на шее не виснуть. Мне — опора, тебе — свобода. Как говорится, богу свое, а кесарю кесарево. Вот и уехала.

А на душе-то кошки скребли. Нехорошо вроде поступила. Предала. Теперь вижу — поступила правильно, хотя о личной твоей жизни и не знаю ничего. Знаю только, что жизни Светланы и Андрея ты не нарушил. Я ей писала тогда еще, хотела о тебе выведать. Она ответила, что уехал ты, очень трогательно твой

дебош на вокзале изобразила. По ее словам, ты пострадал. Я тоже думаю, что скверно тебе пришлось, раз уж напился и в драку полез. А потом уехал и исчез. Это правильно. Тоже правильно. Перевернул страницу.

А вот еще почему пишу. Недавно я побывала в нашем Дождь-городке! (Видишь, я помню, как ты его называл.) Случайно совершенно. Проезжала мимо поездом, выглянула в окно — ничего узнать не могу: завод огромный трубами дымит, дома девятиэтажные... Разволновалась, удивившись, и сошла, остановку сделала.

Коленька, родной! Что время творит! Все там уже совсем другое. Построили завод, завод город почти весь перестроил. Помнишь привокзальную стометровочку? Районный наш «бродвейчик»? Воскресные парады плюшевых дам? Теперь там бульвар разбили. Почему-то с березами и елками. Будто на тысячу километров к северу городок передвинули! Вдоль бульвара стекло сплошное, витрины. Короче, полный прогресс.

Да что витрины, Коля! Только за сердце не хватайся. Школы нашей больше нет... То есть здание осталось, на века строили. И сейчас с пользой стоит. Цех какой-то тарной фабрики! Горы ящиков вокруг. А школа наша новая — на берегу, поближе к мостам, тоже новым, разумеется, бетонным. Школу завод щедро построил, даже с бассейном, про кабинеты и не говорю... Но почему я нашей ее назвала? Вот тут я тебя удивлю! Светка в ней завуч!

Выглядит она для своих лет прекрасно и на пенсию не собирается. Говорит, что ценят ее и уважают. Меня она встретила, как род-



ную, наболтались, навспоминались. Почему-то к старости прошлое приятнее вспоминается. Андрей уже не работает, но его я не застала, укатил на встречу с ветеранами. Директор в школе молодой и энергичный. Светка им довольна. А «папы» нашего уже нет. И Прасковьи тоже нет.

Зато Тарас Федорович жив и активен и в общем изменился мало. Животик свой носит по-прежнему. Светка его составлять расписание привлекает. Тебя он помнит прекрасно. Даже в курсе твоей научной карьеры. Говорит, «это мы с Борисом Матвеевичем его на верную дорогу вывели. Борис Матвеевич сразу его призвание разглядел. Не всем же школьную лямку всю жизнь тянуть! Хорошо вам!»

Последние слова он добавил, оглядев меня, толстую генеральшу. Я ведь бабушка, Коля! Трудно поверить, но, увы, «пока я песню пела, пять минут уж пролетело». Но я довольна своей жизнью, у меня сын, дочка и двое внучат.

Сначала я хотела послать тебе свою фотографию, но побоялась, что ты увидишь меня другими глазами, чем Тарас Федорович. Поэтому посылаю фотокарточку дочери с детьми. Она родилась в тот год, когда я уехала из Дождь-городка и, как все считают, очень похожа на меня. Может быть, тебе будет приятнее взглянуть на нее, а не на ее постаревшую маму. А мальчишки просто прелесть! Не правда ли?

Сын мой пошел по стопам отца. Офицер, служит хорошо и вообще очень надежный парень. Пока не женат. Хочу ему хорошую же-

ну, лучше, чем я, но и на такую согласна. Ведь я оказалась неплохой женой, Коля. Думаю, что семье моей упрекнуть меня не в чем, хоть я и работу не бросила, сначала в школе работала, потом на курсах иностранных языков. Везде справлялась.

Светка тоже бабушка. Ее сын после института все по сибирским стройкам. Там и женился, а внук у другой бабули живет, как это теперь принято, на Кубани. Так что Светка поглощена исключительно делами школьными. Из всех нас она оказалась человеком самым преданным профессии, на таких школа всегда держаться будет,

Боялась я за Андрея. Помнишь, как Д'Артаньян боялся через двадцать лет увидеть спившегося Атоса? Но Атоса спас сын, а Андрея, навёрно, завод. Нашел там работу, в лаборатории. Конечно, в науку возвращаться уже поздно было, физика к возрасту строга, а все-таки новое занятие ему по душе пришлось, и, главное, себя одолел...

Много о тебе говорили. Не скрою, хотелось бы узнать о тебе побольше. Светка надеется, что и тебя когда-нибудь попутный поезд через Дождь-городок повезет. Но ведь вы, мужики, нерешительные. Постоишь у окошечка и дальше поедешь. Но я ей этого не сказала и на вопрос ее не ответила. А она меня спросила, было ли между нами что-нибудь? Я соврала. Почему? Да не потому, конечно, что огорчать ее не хотела, дела-то больно прошлые... Просто почувствовала, что не нужно, и все. Понимай как знаешь.

Под конец хочу написать, что, несмотря на всю городскую реконструкцию, мой и «наш»

домишко пока уцелел. Хозяева, правда, другие, внутри все перестроили, вместо плетня забор воздвигли, но домик все-таки есть. Постояла я возле него, вспомнила, как подходил ты к калитке, робея, похожий на шпиона из кинофильма, и стало мне и грустно и радостно.

А твоей хаты нет. Девятиэтажная башня на ее месте. Жива ли хозяйка, не знаю. Ведь она давно уехала.

Вот и все, Коля.

Если захочешь, напиши. Мне или Светлане.

Виктория»

Павел Александрович ШЕСТАКОВ

ДОЖДЬ-ГОРОДОК

П о в е с т ь

Редактор В. В. Безбожный

Художник Н. А. Фарбер

Художественный редактор З. А. Лазаревич

Технический редактор Л. М. Криволадова

Корректоры М. Р. Иванова,

О. И. Антюфеева

ИБ № 946

Сдано в набор 30.09.80. Подписано в печать 06.01.81. ПК 14007. Формат 70 x 90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бум. тип. № 3. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Усл. печ. л. 7,6. Уч.-изд. л. 7,65. Тираж 30 000. Заказ 162. Цена 60 коп.

Ростовское книжное издательство. 344706, Ростов-на-Дону, Красноармейская, 23.  
Типография им. М. И. Калинина Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. 344081, Ростов-на-Дону, 1-я Советская, 57.

**Шестаков П. А.**

**Ш 51** Дождь-городок: Повесть. — Ростов, Кн. изд-во, 1981. — 208 с.

В повести ставится проблема гражданского и нравственного мужания человека. Действие происходит в начале пятидесятых годов в маленьком украинском городке, куда по направлению приезжает молодой учитель, выпускник университета. Впервые столкнувшись с настоящими трудностями, он оказывается в сложной ситуации, получает серьезный жизненный урок.

Книга адресуется широкому читателю.

**Ш** 70302—016  
М156(03)—81 34.80.4702010200

**P2**



60 коп.